

**ЛЕОНИД
АНДРЕЕВ**

ПОВЕСТИ И
РАССКАЗЫ
(СБОРНИК)

Шедевры мировой литературы (Мир книги, Литература)

Леонид Андреев

Повести и рассказы (сборник)

«Public Domain»

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

Андреев Л. Н.

Повести и рассказы (сборник) / Л. Н. Андреев — «Public Domain», — (Шедевры мировой литературы (Мир книги, Литература))

ISBN 978-5-486-03385-8

Леонид Николаевич Андреев (1871—1919) – русский писатель. Первая книга рассказов, вышедшая в 1901 г., была высоко оценена критикой, и он почти сразу стал литературной знаменитостью. Первые произведения Андреева были проникнуты критическим анализом современного ему мира. Однако еще в раннем периоде творчества писателя проявились его основные мотивы: крайний скептицизм, неверие в человеческий разум, возникло увлечение спиритуализмом и религией. Своей известностью после 1905 г. Андреев в основном обязан успеху в качестве драматурга. Его первая пьеса появилась в 1905-м, и впоследствии он издавал не менее одной пьесы в год. Большевицкая революция 1917 г. вынудила писателя перебраться в Финляндию, где он пером публициста обличал коммунистическое засилье на родине. Произведения Андреева отличает резкость контрастов, неожиданные повороты сюжета в сочетании со схематической простотой слога. В данном томе представлены лучшие повести и рассказы Андреева, написанные в разные годы.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-486-03385-8

© Андреев Л. Н.

© Public Domain

Содержание

Баргамот и Гараська	6
Алеша-дурачок	12
Ангелочек	19
Молчание	27
Рассказ о Сергее Петровиче	35
В темную даль	51
Жили-были	59
Конец ознакомительного фрагмента.	64

Леонид Андреев

Повести и рассказы (сборник)

Баргамот и Гараська

1

Было бы несправедливо сказать, что природа обидела Ивана Акиндиныча Бергамотова, в своей официальной части именовавшегося «городовой бляха № 20», а в неофициальной – попросту «Баргамот». Обитатели одной из окраин губернского города Орла, в свою очередь, по отношению к месту жительства называвшиеся пушкарями (от названия Пушкарной улицы), а с духовной стороны характеризовавшиеся прозвищем «пушкари – проломленные головы», давая Ивану Акиндиничу это имя, без сомнения, не имели в виду свойств, присущих столь нежному и деликатному плоду, как бергамот. По своей внешности Баргамот скорее напоминал мастодонта или вообще одного из тех милых, но погибших созданий, которые за недостатком помещения давно уже покинули землю, заполненную мозгляками-людишками. Высокий, толстый, сильный, громогласный Баргамот составлял на полицейском горизонте видную фигуру и давно, конечно, достиг бы известных степеней, если бы душа его, сдавленная толстыми стенами, не была погружена в богатырский сон. Внешние впечатления, проходя в душу Баргамота через его маленькие, заплывшие глазки, по дороге теряли всю свою остроту и силу и доходили до места назначения в виде слабых отзвуков и отблесков. Человек с возвышенными требованиями назвал бы его куском мяса, околоточные надзиратели величали его дубиной, хоть и исполнительной; для пушкарей же – наиболее заинтересованных в этом вопросе лиц – он был степенным, серьезным и солидным человеком, достойным всякого почета и уважения. То, что знал Баргамот, он знал твердо. Пусть это была одна инструкция для городских, когда-то с напряжением всего громадного тела усвоенная им, но зато эта инструкция так глубоко засела в его неповоротливом мозгу, что вытравить ее оттуда нельзя было даже крепкой водкой. Не менее прочную позицию занимали в его душе немногие истины, добытые путем житейского опыта и, безусловно, господствовавшие над местностью. Чего не знал Баргамот, о том он молчал с такой несокрушимой солидностью, что людям знающим становилось как будто немного совестно за свое знание. А самое главное, – Баргамот обладал непомерной силищей, сила же на Пушкарной улице была все. Населенная сапожниками, пенькотрепальщиками, кустарями-портными и иных свободных профессий представителями, обладая двумя кабаками, воскресеньями и понедельниками, все свои часы досуга Пушкарная посвящала гомерической драке, в которой принимали непосредственное участие жены, растрепанные, простоволосые, растаскивающие мужей, и маленькие ребятишки, с восторгом взиравшие на отвагу тятек. Вся эта буйная волна пьяных пушкарей, как о каменный оплот, разбивалась о непоколебимого Баргамота, забиравшего методически в свои мощные длани пару наиболее отчаянных крикунов и самолично доставлявшего их «за клин». Крикуны покорно вручали свою судьбу в руки Баргамота, протестуя лишь для порядка.

Таков был Баргамот в области международных отношений. В сфере внутренней политики он держался с неменьшим достоинством. Маленькая, покосившаяся хибарка, в которой обитал Баргамот с женой и двумя детишками и которая с трудом вмещала его грузное тело, трясясь от дряхлости и страха за свое существование, когда Баргамот ворочался, – могла быть спокойна если не за свои деревянные устои, то за устои семейного союза. Хозяйственный, рачительный, любивший в свободные дни копать в огороде, Баргамот был строг. Путем того же

¹ Впервые – в газете «Курьер», 1898, 5 апреля, № 94.

физического воздействия он учил жену и детей, не столько сообразуясь с их действительными потребностями в науке, сколько с теми неясными на этот счет указаниями, которые существовали где-то в закоулке его большой головы. Это не мешало жене его Марье, еще моложавой и красивой женщине, с одной стороны, уважать мужа, как человека степенного и непьющего, а с другой – вертеть им, при всей его грузности, с такой легкостью и силой, на которую только и способны слабые женщины.

Часу в десятом теплого весеннего вечера Баргамот стоял на своем обычном посту, на углу Пушкарной и 3-й Посадской улиц. Настроение Баргамота было скверное. Завтра светлое Христово воскресенье, сейчас люди пойдут в церковь, а ему стоять на дежурстве до трех часов ночи, только к разговинам домой попадешь. Потребности молиться Баргамот не ощущал, но праздничное, светлое настроение, разлитое по необычайно тихой и спокойной улице, коснулось и его. Ему не нравилось место, на котором он ежедневно спокойно стоял в течение десятка годов: хотелось даже делать что-нибудь такое праздничное, что делают другие. В виде смутных ощущений поднимались в нем недовольство и нетерпение. Кроме того, он был голоден. Жена нынче совсем не дала ему обедать. Так, только тюри пришлось похлебать. Большой живот настоятельно требовал пищи, а разговляться-то когда еще!

– Тьфу! – плюнул Баргамот, сделав сигарку, и начал нехотя сосать ее. Дома у него были хорошие папиросы, презентованные местным лавочником, но и они откладывались «до разговленья».

Вскоре потянулись в церковь и пушкари, чистые, благообразные, в пиджаках и жилетах поверх красных и синих шерстяных рубах, в длинных, с бесконечным количеством сборок сапогах на высоких и острых каблучках. Завтра всему этому великолепию предстояло частью попасть на стойку кабаков, а частью быть разорванным в дружеской схватке за гармонию, но сегодня пушкари сияли. Каждый бережно нес узелок с пасхой и куличами. На Баргамота никто не обращал внимания, да и он с неособенной любовью посматривал на своих «крестников», смутно предчувствуя, сколько путешествий придется ему завтра совершить в участок. В сущности, ему было завидно, что они свободны и идут туда, где будет светло, шумно и радостно, а он торчи тут как неприкаянный.

«Стой тут из-за вас, пьяниц!» – резюмировал он свои размышления и еще раз плюнул – сосало под ложечкой.

Улица опустела. Отзвонили к обедне. Потом радостный, переливчатый трезвон, такой веселый после заунывных великопостных колоколов, разнес по миру благостную весть о воскресении Христа. Баргамот снял шапку и перекрестился. Скоро и домой. Баргамот повеселел, представляя себе стол, накрытый чистой скатертью, куличи, яйца. Он не торопясь со всеми похристосует. Разбудят и принесут Ванюшку, который первым делом потребует крашеного яичка, о котором целую неделю вел обстоятельные беседы с более опытной сестренкой. Вот-то разинет он рот, когда отец преподнесет ему не линючее, окрашенное фуксином яйцо, а настоящее мраморное, что самому ему презентовал все тот же обязательный лавочник! «Потешный мальчик!» – ухмыльнулся Баргамот, чувствуя, как что-то вроде родительской нежности поднимается со дна его души.

Но благодушие Баргамота было нарушено самым подлым образом. За углом послышались неровные шаги и сиплое бормотанье. «Кого это несет нелегкая?» – подумал Баргамот, заглянул за угол и всей душой оскорбился. Гараська! Сам с своей собственной пьяной особой, – его только недоставало! Где он поспел до свету наклюкаться, составляло его тайну, но что он наклюкался, было вне всякого сомнения. Его поведение, загадочное для всякого постороннего человека, для Баргамота, изучившего душу пушкаря вообще и подлую Гараськину натуру в частности, было вполне ясно. Влекомый непреодолимой силой, Гараська со середины улицы, по которой он имел обыкновение шествовать, был притиснут к забору. Упершись обеими руками и сосредоточенно-вопросительно вглядываясь в стену, Гараська покачивался, собирая силы

для новой борьбы с неожиданными препятствиями. После непродолжительного напряженного размышления Гараська энергично отпихнулся от стены, дотянулся задом до середины улицы и, сделав решительный поворот, крупными шагами устремился в пространство, оказавшееся вовсе не таким бесконечным, как о нем говорят, и в действительности ограниченное массой фонарей. С первым же из них Гараська вступил в самые тесные отношения, заключив его в дружеские и крепкие объятия.

– Фонарь. Тпру! – кратко констатировал Гараська совершившийся факт. Вопреки обыкновению, Гараська был настроен чрезвычайно добродушно. Вместо того чтобы обсыпать столб заслуженными ругательствами, Гараська обратился к нему с короткими упреками, носившими несколько фамильярный оттенок.

– Стой, дурашка, куда ты?! – бормотал он, откачиваясь от столба и снова всей грудью припадая к нему и чуть не сплющивая носа об его холодную и сыроватую поверхность. – Вот, вот!.. – Гараська, уже наполовину скользнувший вдоль столба, успел удержаться и погрузиться в задумчивость.

Баргамот с высоты своего роста, презрительно скосив губы, смотрел на Гараську. Никто ему так не досаждал на Пушкарной, как этот пьянчужка. Так посмотришь, – в чем душа держится, а скандалист первый на всей окраине. Не человек, а язва. Пушкарь напьется, побуйнит, переночует в участке – и все это выходит у него по-благородному, а Гараська все исподтишка, с язвительностью. И били-то его до полусмерти, и в части впроголодь держали, а все не могли отучить от ругани, самой обидной и злоязычной. Станет под окнами кого-нибудь из наиболее почетных лиц на Пушкарной и начнет костить, без всякой причины, здорово живешь. Приказчики ловят Гараську и бьют, – толпа хохочет, рекомендуя поддать жару. Самого Баргамота Гараська ругал так фантастически реально, что тот, не понимая даже всей соли Гараськиных острот, чувствовал, что он обижен более, чем если бы его выпороли.

Чем промышлял Гараська, оставалось для пушкарей одной из тайн, которыми было облечено все его существование. Трезвым его не видел никто, даже та нянька, которая в детстве ушибает ребят, после чего от них слышится спиртный запах, – от Гараськи и до ушиба несло сивухой. Жил, то есть ночевал, Гараська по огородам, по берегу, под кусточками. Зимой куда-то исчезал, с первым дыханием весны появлялся. Что его привлекало на Пушкарную, где его не бил только ленивый, – было опять-таки тайной бездонной Гараськиной души, но выжить его ничем не могли. Предполагали, и не без основания, что Гараська поворовывает, но поймать его не могли и били лишь на основании косвенных улик.

На этот раз Гараське пришлось, видимо, преодолеть нелегкий путь. Отрепья, делавшие вид, что они серьезно прикрывают его тощее тело, были все в грязи, еще не успевшей засохнуть. Физиономия Гараськи, с большим отвислым красным носом, бесспорно служившим одной из причин его неустойчивости, покрытая жиденькой и неравномерно распределенной растительностью, хранила на себе вещественные знаки вещественных отношений к алкоголю и кулаку ближнего. На щеке у самого глаза виднелась царапина, видимо, недавнего происхождения.

Гараське удалось наконец расстаться с столбом, когда он заметил величественно-безмолвную фигуру Баргамота. Гараська обрадовался.

– Наше вам! Баргамоту Баргамотычу!.. Как ваше драгоценное здоровье? – Галантно он сделал ручкой, но, пошатнувшись, на всякий случай уперся спиной в столб.

– Куда идешь? – мрачно прогудел Баргамот.

– Наша дорога прямая...

– Воровать? А в часть хочешь? Сейчас, подлеца, отправлю.

– Не можете.

Гараська хотел сделать жест, выражающий удальство, но благоразумно удержался, плюнул и пошаркал на одном месте ногой, делая вид, что растирает плевков.

– А вот в участке поговоришь! Марш! – Мощная длань Баргамота устремила к засаленному вороту Гараськи, настолько засаленному и рваному, что Баргамот был, очевидно, уже не первым руководителем Гараськи на тернистом пути добродетели.

Встряхнув слегка пьяницу и придав его телу надлежащее направление и некоторую устойчивость, Баргамот потащил его к вышеуказанной им цели, совершенно уподобляясь могучему буксиру, влекущему за собою легонькую шхуну, потерпевшую аварию у самого входа в гавань. Он чувствовал себя глубоко обиженным: вместо заслуженного отдыха тащись с этим пьянчужкой в участок. Эх! У Баргамота чесались руки, но сознание того, что в такой великий день как будто неудобно пускать их в ход, сдерживало его. Гараська шагал бодро, совмещая удивительным образом самоуверенность и даже дерзость с кротостью. У него, очевидно, была своя мысль, к которой он и начал подходить сократовским методом:

– А скажи, господин городской, какой нынче у нас день?

– Уж молчал бы! – презрительно ответил Баргамот. – До свету нализался.

– А у Михаила-архангела звонили?

– Звонили. Тебе-то что?

– Христос, значит, воскрес?

– Ну, воскрес.

– Так позвольте... – Гараська, ведший этот разговор вполоборота к Баргамоту, решительно повернулся к нему лицом.

Баргамот, заинтригованный странными вопросами Гараськи, машинально выпустил из руки засаленный ворот; Гараська, утратив точку опоры, пошатнулся и упал, не успев показать Баргамоту предмета, только что вынутого им из кармана. Приподнявшись одним туловищем, опираясь на руки, Гараська посмотрел вниз, – потом упал лицом на землю и завыл, как бабы воют по покойнике.

Гараська воет! Баргамот изумился. «Новую шутку, должно быть, выдумал», – решил он, но все же заинтересовался, что будет дальше. Дальше Гараська продолжал выть без слов, по-собачьи.

– Что ты, очумел, что ли? – ткнул его ногой Баргамот.

Воет. Баргамот в раздумье.

– Да чего тебя расхватывает?

– Яи-ч-ко...

Гараська, продолжая выть, но уже потише, сел и поднял руку кверху. Рука была покрыта какой-то слизью, к которой пристали кусочки крашеной яичной скорлупы. Баргамот, продолжая недоумевать, начинает чувствовать, что случилось что-то нехорошее.

– Я... по-благородному... похристосоваться... яичко, а ты... – бессвязно бурлил Гараська, но Баргамот понял. Вот к чему, стало быть, вел Гараська: похристосоваться хотел, по христианскому обычаю, яичком, а он, Баргамот, его в участок пожелал отправить. Может, откуда он это яичко нес, а теперь вон разбил его. И плачет.

Баргамоту представилось, что мраморное яичко, которое он бережет для Ванюшки, разбилось, и как это ему, Баргамоту, было жаль.

– Экая оказия, – мотал головой Баргамот, глядя на валявшегося пьянчужку и чувствуя, что жалок ему этот человек, как брат родной, кровно своим же братом обиженный.

– Похристосоваться хотел... Тоже душа живая, – бормотал городской, стараясь со всею неуклюжестью отдать себе ясный отчет в положении дел и в том сложном чувстве стыда и жалости, которое все более угнетало его. – А я, тово... в участок! Ишь ты!

Тяжело крякнув и стукнув своей «селедкой» по камню, Баргамот присел на корточки около Гараськи.

– Ну... – смущенно гудел он. – Может, оно не разбилось?

– Да, не разбилось, ты и морду-то всю готов разбить. Ирод!

– А ты чего же?

– Чего? – передразнил Гараська. – К нему по-благородному, а он в... в участок. Может, яичко-то у меня последнее? Идол!

Баргамот пыхтел. Его несколько не оскорбляли ругательства Гараськи: всем своим нескладным нутром он ощущал не то жалость, не то совесть. Где-то, в самых отдаленных недрах его дюжего тела, что-то назойливо сверлило и мучило.

– Да разве вас можно не бить? – спросил Баргамот не то себя, не то Гараську.

– Да ты, чучело огородное, пойми...

Гараська, видимо, входил в обычную колею. В его несколько проясневшем мозгу вырисовалась целая перспектива самых соблазнительных ругательств и обидных прозвищ, когда сосредоточенно сопевший Баргамот голосом, не оставлявшим ни малейшего сомнения в твердости принятого им решения, заявил:

– Пойдем ко мне разговляться.

– Так я к тебе, пузатому черту, и пошел!

– Пойдем, говорю!

Изумлению Гараськи не было границ. Совершенно пассивно позволив себя поднять, он шел, ведомый под руку Баргамотом, шел – и куда же? – не в участок, а в дом к самому Баргамоту, чтобы там еще... разговляться! В голове Гараськи блеснула соблазнительная мысль – наострить от Баргамота лыжи, но хоть голова его и прояснела от необычности положения, зато лыжи находились в самом дурном состоянии, как бы поклявшись вечно цепляться друг за друга и не давать друг другу ходу. Да и Баргамот был так чуден, что Гараське, собственно говоря, и не хотелось уходить. С трудом ворочая языком, приискивая слова и путаясь, Баргамот то излагал ему инструкцию для городских, то снова возвращался к основному вопросу о битье и участке, разрешая его в смысле положительном, но в то же время и отрицательном.

– Верно говорите, Иван Акиндин, нельзя нас не бить, – поддерживал Гараська, чувствуя даже какую-то неловкость: уж больно чуден был Баргамот!

– Да нет, не то я говорю... – мямлил Баргамот, еще менее, очевидно, чем Гараська, понимавший, что городит его суконный язык...

Пришли наконец домой, – и Гараська уже перестал изумляться. Марья сперва вытаращила глаза при виде необычайной пары, но по растерянному лицу мужа догадалась, что противоречить не нужно, а по своему женскому мягкосердечию живо смекнула, что надо делать.

Вот ошалевший и притихший Гараська сидит за убраным столом. Ему так совестно, что хоть сквозь землю провалиться. Совестно своих отрепий, совестно своих грязных рук, совестно всего себя, оборванного, пьяного, скверного. Обжигаясь, ест он дьявольски горячие, заплывшие жиром щи, проливает на скатерть и, хотя хозяйка деликатно делает вид, что не замечает этого, конфузится и больше проливает. Так невыносимо дрожат эти заскорюзлые пальцы с большими грязными ногтями, которые впервые заметил у себя Гараська.

– Иван Акиндин, а что же вы Ванятке-то... сюрпризец? – спрашивает Марья.

– Не надо, потом... – отвечает торопливо Баргамот. Он обжигается щами, дует на ложку и солидно обтирает усы, – но сквозь эту солидность сквозит то же изумление, что и у Гараськи.

– Кушайте, кушайте, – потчует Марья. – Герасим... как звать вас по батюшке?

– Андреич.

– Кушайте, Герасим Андреич.

Гараська старается проглотить, давится и, бросив ложку, падает головой на стол прямо на сальное пятно, только что им произведенное. Из груди его вырывается снова тот жалобный и грубый вой, который так смутил Баргамота. Денники, уже переставшие было обращать внимание на гостя, бросают свои ложки и дискантом присоединяются к его тенору. Баргамот с растерянностью и жалкою миной смотрит на жену.

– Ну, чего вы, Герасим Андреич! Перестаньте, – успокаивает та беспокойного гостя.

– По отчеству... Как родился, никто по отчеству... не называл...

Алеша-дурачок

Посвящается Э. В. Готье²

3

Впервые увидел я Алешу при таких обстоятельствах. Был холодный ноябрьский день. Сильный северный ветер быстро гнал по небу низкие тучи, гудел в голых вершинах обнаженных деревьев, срывая оттуда последние желтые скрюченные листья, своим печальным видом напоминавшие дачников, которые никак не могут расстаться с летом и только под влиянием крайней необходимости покидают насиженное место. Тот же суровый и настойчивый ветер подгонял и меня, настолько увеличив мою нормальную способность к передвижению, что путь от гимназии до дому, проходимый мною обыкновенно минут в тридцать, на этот раз сократился по меньшей мере минут на пять. Полагаю, впрочем, что один ветер едва ли достиг бы таких блестящих результатов, если бы не оказали ему содействие мои родители, наградившие меня тем, что в данную минуту свободно можно было назвать парусом, но что при рождении было наименовано гимназическим теплым пальто, сшитым «на рост». По толкованию изобретателей этой адской машины выходило так, что когда года через четыре мне станет пятнадцать лет, то эта вещь будет как раз мне впору. Нельзя сказать, чтобы это было большим утешением, особенно если принять во внимание необыкновенную тяжесть этой вещи и длину ее пол, которые мне приходилось каждый раз с усилием разбрасывать ногами. Если добавить к этому величайшую, с широчайшими полями, ватную гимназическую фуражку, имевшую очевидную и злобную тенденцию навек сокрыть от меня свет божий и похоронить мою бедную голову в своих теплых и мягких недрах, чему единственно препятствовали мои уши, да обширнейший ранец, вплотную набитый толстейшими книжками – и все в переплетах, – то, без всякого риска солгать, меня можно было уподобить путешественнику в Альпийских горах, придавленному обвалом и, кроме того, поставленному в грустную необходимость весь этот обвал тащить на себе. При этих условиях требовать от меня жизнерадостного настроения было бы нелепостью.

Дом наш находился на окраине города О. по Пушкарной улице. Энергично борясь с судьбою, я успел приблизиться к нему и уже взялся за ручку калитки, чтобы через двор пройти к себе, когда из-под козырька фуражки заметил чьи-то грязные ноги, попиравшие чистые каменные ступени парадного крыльца. Сдвинув, насколько было то возможно, фуражку на затылок, я критическим взглядом окинул обладателя грязных ног. При первом поверхностном обзоре я успел заметить, что он одет более чем по-летнему. Коротенький и узкий нанковый пиджак туго обтягивал тело, выше кисти оставляя открытыми большие грязные руки, синевато-багровые от холода. Тот же оттенок носили и другие части тела незнакомца, выглядывавшие из прорванных нанковых брюк, далеко не достигавших нижних конечностей, обутых в опорки. Единственное, что в costume незнакомца пробудило во мне некоторое чувство зависти, была маленькая-премаленькая засаленная фуражка, еле прикрывавшая стриженую голову.

– Послушай, чего тебе надо? – спросил я с деловитой суровостью барчонка, выполняющего ответственные функции хозяина и домовладельца.

Незнакомец молчал и смотрел на меня. Я тоже молчал и смотрел на него. Поразило меня при этом что-то особенное в выражении его глаз и рта. Лицо у него было совсем млаожавое,

² Готье Эдуард Владимирович (1859–?) – врач-терапевт, доктор медицины, профессор Московских высших женских курсов. Семья Готье оказывала молодому Андрееву материальную помощь. В 1918 г. Андреев писал матери Анастасии Николаевне: «Да, я очень памятлив, маточка, и если еще иногда забываю сделанное мне зло, то добра никогда не забываю. Разве, напр., я забуду когда-нибудь тех же Готье!.. (Андреев В. Детство. М.: Советский писатель, 1963. С. 212).

³ Впервые, с подзаголовком «Очерк» и посвящением Э. В. Готье, – в газете «Курьер», 1898, 29 и 30 сентября, № 268 и 269.

болезненно-полное и на щеках еле покрытое негустым желтоватым пушком. Носик маленький, красный от холода. Небольшие серые тусклые глаза смотрели на меня в упор, не мигая. В них совсем не было мысли, но откуда-то из глубины поднималась тихая молчаливая мольба, полная несказанной тоски и муки; жалкая, просящая улыбка как бы застыла на его лице.

– Послушай же! Чего тебе надо? – вторично спросил я, но уже со значительно меньшей суровостью. Но незнакомец и на этот раз не удостоил меня ответа. Слегка сгорбившийся, беспомощно, как плети, опустивший руки по бокам, он смотрел на меня тем же взглядом, и лишь губы его стали шевелиться, как будто то, что нужно было ему сказать, находилось на самом кончике языка, но никак не могло соскочить оттуда.

– Ну? – подсобил я ему.

– Копеечку... – послышался тихий, точно откуда-то издали долетевший ответ.

– А ты звонил?

– Не-ет.

– Какой же ты глупый! Кто ж тебе даст, если ты не звонил.

Незнакомец молчал.

– А как тебя зовут?

– Алеша... Дурачок.

Эта необычная рекомендация не показалась мне странной, ибо я давно уже решил, что у незнакомца не все дома, и мне было жаль его. Особенно смущало меня проглядывавшее сквозь прорехи голое, синеватое тело.

– Тебе холодно?

– Холодно.

С быстротой нерассуждающего детства я составил чудный план помощи Алеше, имевший целью не только спасти его от холода, но обеспечить его будущность по меньшей мере на несколько десятков лет. Схватив Алешу за рукав, я энергично потащил его окольным путем в сад, более чем когда-либо негодуя на излишнюю предусмотрительность родителей, воплотившуюся в этом проклятом пальто «на рост». В саду я усадил Алешу на скамейку, с возможной поспешностью отправился домой и, не раздеваясь, потребовал от матери «как можно больше денег». Та изумилась, но ввиду того, что я имел честь состоять первенцем и баловнем дома, а также и потому, что у ней не было мелочи, дала мне рубль, строго приказав принести мне сдачи. Как же, дождайся!

– На, Алеша. Тут много денег. Смотри, не потеряй.

Для верности я сам зажал в его руку драгоценную бумажку. Но все-таки меня грызло сомнение, хотелось самому проводить до его дома, но, боясь отца, я удовлетворился тем, что долго из калитки наблюдал за уходящим дурачком. И походка-то у него была странная. Поднимет одну ногу и, качнувшись всем телом вперед, тихо-тихо поставит ее наземь носком внутрь. Потом другую. Меня так и тянуло побежать и толкнуть его сзади. От нетерпения я даже начал топтать.

Говорят, что павлины горды, но это могут говорить лишь те, кто не видал меня в этот достопамятный день. Но радость от сознания сделанного добра была, пожалуй, еще выше гордости и страдала лишь одним недостатком: не была разделена. Впрочем, этот недостаток легко было исправить: у меня был поверенный. В этой почетной должности состоял наш дворник Василий, молодой, веселый и плутоватый парень, бывший, как я впоследствии убедился, далеко не бескорыстным другом, так как всякий прилив дружеской откровенности с моей стороны окупался обыкновенно десятком папирос из отцовского ящика. На этот раз, однако, я был обманут. Мой трогательный рассказ о бедном Алеше и рубле вызвал в Василье неистощимое и обидное для моего самолюбия веселье. Даже тезка Василия – мерин Васька (приютом нашей дружбы служила конюшня) – оглянулся и фыркнул, до того выразительно и громко грохотал Василий! Выждав окончания этой неприличной веселости, я в вежливых выражениях

попросил разъяснить мне причину смеха. Боже, какое разочарование! Оказалось, что Алеша живет у известной всей Пушкарной Акулины, которая посылает его собирать копеечки, и если копеечек набирается достаточно, совершается на них пьянство и дебош. И следовательно, мой рубль...

– Поди-ка, сейчас посмотри! Вот, небось, задувают... И вас похваляют!..

Представление о весьма вероятных, но мало лестных похвалах, которыми должна была осыпать меня Акулина, погрузило Василия в целый океан смеха, вынырнув из которого он выразил прямое намерение идти к кухарке, у которой он тоже состоял поверенным, и посвятить ее в мою тайну.

Однако я воспротивился этому и путем красноречия, а главным образом обещания поставлять папиросы в таком количестве, что осуществление этого обещания грозило отцу неминуемым банкротством, убедил Василия предпринять вместе со мной небольшую реконструкцию во владения Акулины.

Жилище Акулины носило название «кадетского корпуса». Что хотели сказать этим пушкари, давшие это прозвище, для меня положительная тайна. Быть может, покосившаяся набок крыша, весьма отдаленно напоминая надетую набекрень фуражку, что, как известно, составляет отличие военного звания, дало повод к этому названию, – но кто разберется в тайниках народного духа? Под этой крышей, несколько схожей со швейцарским шале⁴, благодаря обилию набросанных камней и кирпичей, долженствовавших удерживать на месте дрянную настилку, находились четыре стены. Четыре – это очень важная подробность, так как половину лета изба имела всего три стены. Дело в том, что господин Треплов, супруг Акулины, по профессии более алкоголик, чем штукатур, вознамерился основательно отремонтировать свой замок, с каковой целью поочередно вынимал каждую стенку и вставлял хворостинную. Но так как различные сложные обязанности, связанные с его профессиями, не позволяли ему отдавать много времени этому занятию, то домишко по целым неделям стоял без одной какой-нибудь стены. Особенно интересный вид представлял собой «кадетский корпус», когда была вынута стенка на улицу, и прохожие имели полную возможность наблюдать за течением семейной жизни гг. Трепловых, причем, несомненно, наибольшее количество избранной публики привлекал тот драматический момент, когда Акулина била и укладывала спать своего мужа. В то время я был глубоко убежден, что нет на свете более носатой, более высокой, более сильной, более страшной и громогласной женщины, чем Акулина. Когда по каким-либо обстоятельствам мне нужно было представить себе ведьму, я совершенно удовлетворялся представлением Акулины, останавливаясь перед одним лишь вопросом: каково же должно быть помело, на котором она летает? Поэтому, подходя к корпусу, я сильно трусил и крепко держал Василия за руку.

Отложив и снова заложив дверь, ибо она относилась к категории тех дверей, которые Митрофанушка называл «прилагательными»⁵, и петель не имела, – куда-то опустившись, поднявшись и снова опустившись, мы очутились внутри лачуги. Свет слабо проникал в запыленные и заклеенные бумагой оконца, и мне в первую минуту показалось, что в избе масса народу. Присмотревшись, я убедился, однако, что там было всего трое. Спиной к нам сидела Акулина, а на лавке вокруг стола восседали опухшая девица и молодой человек неопределенных занятий и звания. Возле молодого человека лежала гармоника, но, думается мне, единственно для контенансу⁶, так как между верхней и нижней половиной этого инструмента произошел видимый и едва ли поправимый разрыв. На грязном столе стояла бутылка водки, валялся раскро-

⁴ ...швейцарским шале. – Шале – небольшой сельский домик в Альпах.

⁵ ...которые Митрофанушка называл «прилагательными»... – Речь идет о персонаже из комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» (1781).

⁶ ...для контенансу. – Для виду, от фр. contenance.

шенный хлеб и виднелись остатки селедки, обычно именуемой пушкарями «кобылой». Алеша не было видно.

– А, Мелит Николаевич! – дружелюбно приветствовала меня Акулина, получавшая от моей матери кое-какое тряпье. – Садитесь, гостями будете. От маменьки будете?

– Нет, я так... от себя... Василий, – шепнул я ментору⁷, – спроси, где Алеша.

– Вам Лешку нужно? – услышала Акулина. – А на что это он вам?

– Барчук дал ему целковый, – сурово вмешался Василий, – и хочет спросить, куда он его потребил.

– Вот он, Леша. Спрашивайте сами, – грубо отрезала Акулина.

Молодой человек неопределенного звания усмехнулся и подморгал мне на вино.

В темном углу за печкой на каком-то обручке сидел Алеша. Обрубок был низок, и колена Алеша подходили к его подбородку. Длинные руки бессильно лежали на коленях. Я наклонился к Алеше и снова встретил молящий, полный тоски взгляд и увидел ту же жалкую, просящую улыбку.

– Алеша, где же деньги? Деньги, которые я тебе дал? Ну, бумажку...

Алеша пошевелил губами и бесстрастно произнес:

– Она взяла.

– Акулина?

– Да-а.

– А это что у тебя? – заметил я, что одна щека Алеша багрово-красная и под глазами царапина.

– Побила.

Бросив руку Василия, я стал против Акулины и, задыхаясь от охватившего меня гнева, спросил:

– Это он... правду говорит?

– Ну и взяла.

– Как же вы смели?!

– А так и смела. Что же, я его даром буду кормить? Тоже, небось, жрет, как прорва.

– И вы били его?

Молодой человек, с видимо возраставшим интересом наблюдавший за этой сценой, не выдержал и, размахивая руками, смеясь и захлебываясь в словах, начал с непонятым восторгом представлять, как била Алешу Акулина.

– У тебя, грит, что это в кулаке зажато? А Лешка стоит, как пень, и кулака не разжимает. Акулина-то как хватит...

Но я перебил его и, обращаясь к Акулине, прокричал высоким, у меня самого в ушах отдавшимся голосом:

– Вы, Акулина, подлая женщина! Вы... мерзкая женщина! Я папе скажу, он к губернатору поедет!.. Он... – Но дальше слов у меня не хватило.

– Тише, Мелит Николаевич, не петушись, не побоялись...

Я топнул ногой, хотел кричать что-то, но Василий схватил меня за руку и быстро потащил к дверям. Последнее, что донеслось до меня из хаты, был возглас молодого человека:

– На чаек бы с вас! – Но потом: – Эх, барин, чай пьет, а пузо холодное!..

– Но ведь она била его, Василий, била! – кричал я, жмуря изо всех сил глаза и обеими руками дергая Василия за поддевку. – Ведь била!

– Ну, нечего, нечего, не плачь. Ему дело привычное...

– Да как привычное! Ведь она сильная, ты не знаешь. Ему больно было...

⁷ ...шепнул я ментору. – Ментор (книж.) – наставник.

Василий отвел меня в наш приют дружбы и долго успокаивал, рассказывая разные небывлицы про ум мерина Васьки, обещаясь наказать Акулину и прося не забыть принести папирос. Понемногу я пришел в себя и решился отправиться в дом, но, уходя, спросил:

– А что это значит: барин чай пьет, а пузо холодное?

– Да так, – дурак говорит, плюньте.

Но я не удовлетворился этим и долго размышлял, ощупывая живот: «Это и правда, чай я пью горячий, а живот у меня холодный?»

Но эти не лишённые глубокомыслия размышления были нарушены жесточайшим нагоном, которым наградил меня отец, узнавший всю эту историю с рублем.

Дня через два я снова увидел Алешу стоявшим у нашего крыльца в той же позе тоскливой безропотности и глубокой, животной покорности судьбе. Длинные большие руки бессильно висели вдоль хилого, понурившегося тела, та же жалкая, просящая улыбка застыла на его губах. Смущенный, потому что мне строго-настрого приказано было бросить эту «затею» с Алешей, я быстро сбегал на кухню, принес большой кусок хлеба и, торопливо сунув в руку Алешу, ласково попросил его уходить.

– Ступай, Алеша, голубчик, ступай. Папа не велел ничего тебе давать.

Вероятно, слово «ступай» было знакомо Алеше лучше всяких других, потому что он тотчас же сошел с крыльца и снова тихой, странной походкой отправился домой. И опять я долго смотрел ему вслед, но на этот раз мне уже не хотелось торопить его, и смутное сознание царщей в мире несправедливости закрадывалось в душу.

С того дня я влюбился в Алешу. Нельзя дать другого названия тому чувству страстной нежности, какая охватывала меня при представлении его лица, улыбки. В классе на уроках, дома на постели я все думал о нем, и мое детское сердце, еще не уставшее любить и страдать, сжималось от горячей жалости. Приходилось мне еще несколько раз видеть Алешу, стоящим и безмолвно, терпеливо ожидающим у чьих-нибудь дверей. Скованный строгим приказом, я только издали провожал Алешу любовным взглядом. С Василием я о нем уже не говорил, так как вместо прежних шуток Василий резко заметил мне, что таких Алеш много и про всех не наплачешься.

Недели через две-три начались морозы, и река стала. С толпой ребятишек, составлявших мою обычную свиту, я отправился на лед кататься. День был воскресный, погожий, и на берегу толкалось порядочно пьяного, гуляющего люда. Кое-где поскрипывала гармоника, недалеко начиналась драка, – уже вторая по счету. Но мы, ребята, ничего этого не слышали и не видели, до самозабвения увлеченные своим занятием. Лед, чистый и гладкий, как зеркало, был еще совсем тонок, так что брошенный на него камень прыгал со звонким, постепенно стихающим гулом. Местами лед даже гнулся под ногами, и когда кто-нибудь из нас, задрав ноги кверху, с размаху стучался затылком, на льду образовывалась звезда, в значительной степени утешавшая автора ее в понесенной неприятности. Иной малорослый любитель сильных ощущений, а может быть, пытливый ум, желавший исследовать явления в их сущности, пробивал лед каблуком и глубокомысленно смотрел, как из образовавшегося отверстия была ключом вода и потихоньку подтекала ему под ноги. Благодаря предусмотрительности родителей, сшивших мне пальто «на рост», я был автором наибольшего количества звезд, рассеянных по льду, и тем более было лестно для моего самолюбия, что после каждого акта творчества я надолго впадал в изнеможение, пытаясь выпутаться из пальто. Находясь в одном из этих состояний, я увидел на берегу Алешу и бросился со всех ног к нему, в радостном возбуждении забыв о приказе. Но пока, падая и подымаясь, я добирался до него, произошло нечто неожиданное. Алеша стоял на берегу у самого льда, как раз над тем местом, которое именовалось у нас омутом, когда один из ребят, зачем-то выскочивший на берег и вздумавший подшутить, разогнался

и изо всех сил бушкнул⁸ Алешу в спину. Наклонясь и вытянув руки вперед, Алеша вылетел на лед, проехал сажени две на раскоряченных ногах и упал навзничь. Были ли в этом месте ключи, или лед был тоньше, чем в других местах, или он просто не мог сдержать тяжести взрослого человека, только Алеша провалился. Дальнейшее свершилось с такой быстротой, что я не успел еще закрыть широко разинутого рта, когда молодой человек, тот, что был у Акулины, поспешно сбросил с себя самого поддевку и пиджак и, со словами: «Берегись, душа, ожгу!» – бросился в воду. Через несколько минут окруженный народом Алеша уже стоял на берегу – все тот же, с теми же бессильно опущенными руками и жалкой улыбкой. Только струившаяся с него вода да дрожание всего тела показывали, что он только сейчас принял холодную ванну и, быть может, избежал смерти, так как провалился он на глубоком месте. Молодого человека его товарищи увели в кабак, причем, уходя, он не преминул попросить у меня на чаек, а Алеша стоял, окруженный соболезнующей и дающей различные советы толпой, – откуда-то уже успели появиться и бабы, – дрожал и синел все больше и больше. Взволнованный, решительный, я протеснился сквозь толпу, взял Алешу за руку, заявил голосом, не терпящим возражений:

– Пойдем, Алеша, к нам, там тебе и чистое платье дадут и обсушиться.

Крики в толпе: «Ай да барчук, молодец!» – ничуть не увеличили моей решимости. Твердо, поскольку позволяли то полы пальто, шагал я, ведя Алешу, а за нами следовала толпа, составляя в общем весьма торжественное и внушительное шествие. Некоторые бабы пытались проникнуть к нам и во двор, но, встретив сильную оппозицию со стороны Василия, в порядке отступили.

Кухарка Дарья, молодая, красивая баба-солдатка, встретила нас целым скандалом, но, тронутая моими усиленными просьбами, к которым присоединил свой авторитетный голос и Василий, смягчилась, только сочла необходимым доложить о казусе моей матери. Та разрешила на несколько часов приютить Алешу и дала даже кое-каких харбаров⁹ ему переодеться. Боже, до чего ликовал я! Я решительно терялся, не зная, чем бы выразить свою любовь бедному Алеше, бесстрастно сидевшему на лавке. Я то гладил ему руки, неподвижно лежавшие на коленях, то просил Дарью дать ему еще поесть, хотел даже почитать ему сказку вслух, но, сообразив, что едва ли он что-нибудь поймет, остановился на другой, более практической мысли. Отозвав Василия в сторону, я таинственно спросил:

– Василий, а если дать ему папиросу, он будет курить?

– Ну вот еще! Куда ему с тупым носом да рябину клевать – рябина ягода нежная!..

При последних словах Василий почему-то подмигнул Дарье, а та засмеялась и назвала его «лешим».

Я продолжал вертеться около Алеши и только что хотел предложить ему еще что-то, когда в кухню вошел отец, только что вернувшийся домой. Василий, собиравшийся зачем-то обнять Дарью, отскочил от нее и вытянулся. Дарья бросилась к печке, а я обмер. Только Алеша остался неподвижен и бесстрастен.

– Что это еще?! Убрать его, – сурово произнес отец.

– Папочка!..

– Я говорил, чтобы этого не было. Василий, отведи его.

Василий шагнул к неподвижному Алеше, но я остановил его, бросился к отцу, схватил за руку и заговорил, захлебываясь в слезах, целуя эту суровую, но родную руку:

– Папочка, родной, милый... позволь ему остаться... он бедный, он дурачок... Его Акулина бьет. Папочка, дорогой мой, не гони его – а то я умру. Папочка, не гони. Папочка, не гони!

⁸ ...бушкнул... – От местн. бушкаться – бодаться.

⁹ ...кое-каких харбаров. – Харбары (орловск., местн.) – ветхая одежда, обноски.

Мои слезы уже начали переходить в истерику. Расчувствовавшаяся Дарья, утирая фартуком глаза, осмелилась присоединиться к моей просьбе.

– Ничего, барин, пускай останется, он нам не мешает...

Отец, не отвечая, хмуро смотрел на Алешу. Как бы под влиянием этого мрачного взгляда Алеша устремил на отца свои полные молчаливой мольбы глаза, и губы его зашевелились:

– Я дурачок... Алеша...

– Папочка!..

– Пускай останется. Но это в последний раз! – сказал отец, тихо-тихо погладив меня по поднятому к нему лицу, и вышел.

На другой день Алеша исчез, и с тех пор я его не видал и не знаю, где он. Может, замерз под забором, а может быть, и сейчас стоит где-нибудь у парадных дверей и ждет...

Ангелочек

10

I

Временами Сашке хотелось перестать делать то, что называется жизнью: не умываться по утрам холодной водой, в которой плавают тоненькие пластинки льда, не ходить в гимназию, не слушать там, как все его ругают, и не испытывать боли в пояснице и во всем теле, когда мать ставит его на целый вечер на колени. Но так как ему было тринадцать лет и он не знал всех способов, какими люди перестают жить, когда захотят этого, то он продолжал ходить в гимназию и стоять на коленках, и ему казалось, что жизнь никогда не кончится. Пройдет год, и еще год, и еще год, а он будет ходить в гимназию и стоять дома на коленках. И так как Сашка обладал непокорной и смелой душой, то он не мог спокойно отнестись ко злу и мстил жизни. Для этой цели он бил товарищей, грубил начальству, рвал учебники и целый день лгал то учителям, то матери, не лгал он только одному отцу. Когда в драке ему расшибали нос, он нарочно расковыривал его еще больше и орал без слез, но так громко, что все испытывали неприятное ощущение, морщились и затыкали уши. Проорав сколько нужно, он сразу умолкал, показывал язык и рисовал в черновой тетрадке карикатуру на себя, как орет, на надзирателя, заткнувшего уши, и на дрожащего от страха победителя. Вся тетрадка заполнена была карикатурами, и чаще всех повторялась такая: толстая и низенькая женщина была скалкой тонкого, как спичка, мальчика. Внизу крупными и неровными буквами чернела подпись: «Проси прощенья, щенок», – и ответ: «Не попрошу, хоть тресни». Перед Рождеством Сашку выгнали из гимназии, и, когда мать стала бить его, он укусил ее за палец. Это дало ему свободу, и он бросил умываться по утрам, бегал целый день с ребятами, и бил их, и боялся одного голода, так как мать перестала совсем кормить его, и только отец прятал для него хлеб и картошку. При этих условиях Сашка находил существование возможным.

В пятницу, накануне Рождества, Сашка играл с ребятами, пока они не разошлись по домам и не проскрипела ржавым, морозным скрипом калитка за последним из них. Уже темно, и с поля, куда выходил одним концом глухой переулок, надвигалась серая снежная мгла; в низеньком черном строении, стоявшем поперек улицы, на выезде, зажегся красноватый, немигающий огонек. Мороз усилился, и, когда Сашка проходил, в светлом круге, который образовался от зажженного фонаря, он видел медленно реявшие в воздухе маленькие сухие снежинки. Приходилось идти домой.

– Где полуночицаешь, щенок? – крикнула на него мать, замахнулась кулаком, но не ударила. Рукава у нее были засучены, обнажая белые, толстые руки, и на безбровом, плоском лице выступали капли пота. Когда Сашка проходил мимо нее, он почувствовал знакомый запах водки. Мать почесала в голове толстым указательным пальцем с коротким и грязным ногтем и, так как браниться было некогда, только плюнула и крикнула:

– Статистики, одно слово!

Сашка презрительно шморгнул носом и прошел за перегородку, где слышалось тяжелое дыхание отца, Ивана Саввича. Ему всегда было холодно, и он старался согреться, сидя на раскаленной лежанке и подкладывая под себя руки ладонями книзу.

– Сашка! А тебя Свечниковы на елку звали. Горничная приходила, – прошептал он.

¹⁰ Впервые – в газете «Курьер», 1899, 25 декабря, № 356 с посвящением Александре Михайловне Велигорской (1881–1906), ставшей в 1902 г. женой Андреева. Отдельным изданием выпущен в Ростове-на-Дону «Донской речью» (1904) и в «Дешевой библиотеке т-ва «Знание», № 52 (СПб., 1906).

- Врешь? – спросил с недоверием Сашка.
- Ей-богу. Эта ведьма нарочно ничего не говорит, а уж и куртку приготовила.
- Врешь? – все больше удивлялся Сашка.

Богачи Свечниковы, определившие его в гимназию, не велели после его исключения показываться к ним. Отец еще раз побожился, и Сашка задумался.

– Ну-ка подвинься, расселся! – сказал он отцу, прыгая на коротенькую лежанку, и добавил: – А к этим чертям я не пойду. Жирны больно станут, если еще я к ним пойду. «Испорченный мальчик», – протянул Сашка в нос. – Сами хороши, антипы толсторожие.

– Ах, Сашка, Сашка! – поежился от холода отец. – Не сносить тебе головы.

– А ты-то сносишь? – грубо возразил Сашка. – Молчал бы уж: бабы боится. Эх, тюря!

Отец сидел молча и ежился. Слабый свет проникал через широкую щель вверху, где перегородка на четверть не доходила до потолка, и светлым пятном ложился на его высокий лоб, под которым чернели глубокие глазные впадины. Когда-то Иван Саввич сильно пил водку, и тогда жена боялась и ненавидела его. Но, когда он начал харкать кровью и не мог больше пить, стала пить она, постепенно привыкая к водке. И тогда она выместила все, что ей пришлось выстрадать от высокого узкогрудого человека, который говорил непонятные слова, выгонялся за строптивость и пьянство со службы и наводил к себе таких же длинноволосых безобразников и гордецов, как и он сам. В противоположность мужу она здоровела по мере того, как пила, и кулаки ее все тяжелели. Теперь она говорила, что хотела, теперь она водила к себе мужчин и женщин, каких хотела, и громко пела с ними веселые песни. А он лежал за перегородкой, молчаливый, съжившийся от постоянного озноба, и думал о несправедливости и ужасе человеческой жизни. И всем, с кем ни приходилось говорить жене Ивана Саввича, она жаловалась, что нет у нее на свете таких врагов, как муж и сын: оба гордецы и статистики.

Через час мать говорила Сашке:

– А я тебе говорю, что ты пойдешь! – И при каждом слове Феоктиста Петровна ударяла кулаком по столу, на котором вымытые стаканы прыгали и звякали друг о друга.

– А я тебе говорю, что не пойду, – хладнокровно отвечал Сашка, и углы губ его подергивались от желания оскалить зубы. В гимназии за эту привычку его звали волчонком.

– Изобью я тебя, ох, как изобью! – кричала мать.

– Что же, избеи!

Феоктиста Петровна знала, что бить сына, который стал кусаться, она уже не может, а если выгнать на улицу, то он отправится шататься и скорее замерзнет, чем пойдет к Свечниковым; поэтому она прибегла к авторитету мужа.

– А еще отец называется: не может мать от оскорблений оберечь.

– Правда, Сашка, ступай, что ломаешься? – отозвался тот с лежанки. – Они, может быть, опять тебя устроят. Они люди добрые.

Сашка оскорбительно усмехнулся. Отец давно, до Сашкина еще рождения, был учителем у Свечниковых и с тех пор думал, что они самые хорошие люди. Тогда он еще служил в земской статистике и ничего не пил. Разошелся он с ними после того, как женился на забеременевшей от него дочери квартирной хозяйки, стал пить и опустился до такой степени, что его, пьяного, поднимали на улице и отвозили в участок. Но Свечниковы продолжали помогать ему деньгами, и Феоктиста Петровна, хотя ненавидела их, как книги и все, что связывалось с прошлым ее мужа, дорожила знакомством и хвалилась им.

– Может быть, и мне что-нибудь с елки принесешь, – продолжал отец.

Он хитрил, – Сашка понимал это и презирал отца за слабость и ложь, но ему действительно захотелось что-нибудь принести больному и жалкому человеку. Он давно уже сидит без хорошего табаку.

– Ну, ладно! – буркнул он. – Давай, что ли, куртку. Пуговицы пришила? А то ведь я тебя знаю!

II

Детей еще не пускали в залу, где находилась елка, и они сидели в детской и болтали. Сашка с презрительным высокомерием прислушивался к их наивным речам и ощупывал в кармане брюк уже переломавшиеся папиросы, которые удалось ему стащить из кабинета хозяина. Тут подошел к нему самый маленький Свечников, Коля, и остановился неподвижно и с видом изумления, составив ноги носками внутрь и положив палец на угол пухлых губ. Месяцев шесть тому назад он бросил, по настоянию родственников, скверную привычку класть палец в рот, но совершенно отказаться от этого жеста еще не мог. У него были белые волосы, подрезанные на лбу и завитками спадавшие на плечи, и голубые удивленные глаза, и по всему своему виду он принадлежал к мальчикам, которых особенно преследовал Сашка.

– Ты неблагодалный мальчик? – спросил он Сашку. – Мне мисс сказала. А я холосой.

– Уж на что же лучше! – ответил тот, осматривая коротенькие бархатные штанишки и большой откладной воротничок.

– Хочешь лузье? На! – протянул мальчик ружье с привязанной к нему пробкой.

Волчонок взвел пружину и, прицелившись в нос ничего не подозревавшего Коли, дернул собачку. Пробка ударилась по носу и отскочила, болтаясь на нитке. Голубые глаза Коли раскрылись еще шире, и в них показались слезы. Передвинув палец от губ к покрасневшему носику, Коля часто заморгал длинными ресницами и зашептал:

– Злой... Злой мальчик.

В детскую вошла молодая, красивая женщина с гладко зачесанными волосами, скрывавшими часть ушей. Это была сестра хозяйки, та самая, с которой занимался когда-то Сашкин отец.

– Вот этот, – сказала она, показывая на Сашку сопровождавшему ее лысому господину. – Поклонись же, Саша, нехорошо быть таким невежливым.

Но Сашка не поклонился ни ей, ни лысому господину. Красивая дама не подозревала, что он знает многое. Знает, что жалкий отец его любил ее, а она вышла за другого, и, хотя это случилось после того, как он женился сам, Сашка не мог простить измены.

– Дурная кровь, – вздохнула Софья Дмитриевна. – Вот не можете ли, Платон Михайлович, устроить его? Муж говорит, что ремесленное ему больше подходит, чем гимназия. Саша, хочешь в ремесленное?

– Не хочу, – коротко ответил Сашка, слышавший слово «муж».

– Что же, братец, в пастухи хочешь? – спросил господин.

– Нет, не в пастухи, – обиделся Сашка.

– Так куда же?

Сашка не знал, куда он хочет.

– Мне все равно, – ответил он, подумав, – хоть и в пастухи.

Лысый господин с недоумением рассматривал странного мальчика. Когда с заплатанных сапог он перевел глаза на лицо Сашки, последний высунул язык и опять спрятал его так быстро, что Софья Дмитриевна ничего не заметила, а пожилой господин пришел в непонятное ей раздражительное состояние.

– Я хочу и в ремесленное, – скромно сказал Сашка.

Красивая дама обрадовалась и подумала, вздохнув, о той силе, какую имеет над людьми старая любовь.

– Но едва ли вакансия найдется, – сухо заметил пожилой господин, избегая смотреть на Сашку и приглаживая поднявшиеся на затылке волосики. – Впрочем, мы еще посмотрим.

Дети волновались и шумели, нетерпеливо ожидая елки. Опыт с ружьем, проделанный мальчиком, внушавшим к себе уважение ростом и репутацией испорченного, нашел себе под-

ражателей, и несколько кругленьких носиков уже покраснело. Девочки смеялись, прижимая обе руки к груди и перегибаясь, когда их рыцари, с презрением к страху и боли, но морщась от ожидания, получали удары пробкой. Но вот открылись двери, и чей-то голос сказал:

– Дети, идите! Тише, тише!

Заранее вытаращив глазенки и затаив дыхание, дети чинно, по паре, входили в ярко освещенную залу и тихо обходили сверкающую елку. Она бросала сильный свет, без теней, на их лица с округлившимися глазами и губками. Минуту царила тишина глубокого очарования, сразу сменившаяся хором восторженных восклицаний. Одна из девочек не в силах была овладеть охватившим ее восторгом и упорно и молча прыгала на одном месте; маленькая косичка со вплетенной голубой ленточкой хлопала по ее плечам. Сашка был угрюм и печален, – что-то нехорошее творилось в его маленьком изъязвленном сердце. Елка ослепляла его своей красотой и крикливым, наглым блеском бесчисленных свечей, но она была чуждой ему, враждебной, как и столпившиеся вокруг нее чистенькие, красивые дети, и ему хотелось толкнуть ее так, чтобы она повалилась на эти светлые головки. Казалось, что чьи-то железные руки взяли его сердце и выжимают из него последнюю каплю крови. Забившись за рояль, Сашка сел там в углу, бессознательно доламывал в кармане последние папиросы и думал, что у него есть отец, мать, свой дом, а выходит так, как будто ничего этого нет и ему некуда идти. Он пытался представить себе перочинный ножичек, который он недавно выменял и очень сильно любил, но ножичек стал очень плохой, с тоненьким сточенным лезвием и только с половиной желтой костяшки. Завтра он сломает ножичек, и тогда у него уже ничего не останется.

Но вдруг узенькие глаза Сашки блеснули изумлением, и лицо мгновенно приняло обычное выражение дерзости и самоуверенности. На обращенной к нему стороне елки, которая была освещена слабее других и составляла ее изнанку, он увидел то, чего не хватало в картине его жизни и без чего кругом было так пусто, точно окружающие люди неживые. То был восковой ангелочек, небрежно повешенный в гуще темных ветвей и словно реявший по воздуху. Его прозрачные стрекозиные крылышки трепетали от падавшего на них света, и весь он казался живым и готовым улететь. Розовые ручки с изящно сделанными пальцами протягивались кверху, и за ними тянулась головка с такими же волосами, как у Коли. Но было в ней другое, чего лишено было лицо Коли и все другие лица и вещи. Лицо ангелочка не блистало радостью, не туманилось печалью, но лежала на нем печать иного чувства, не передаваемого словами, не определяемого мыслью и доступного для понимания лишь такому же чувству. Сашка не сознавал, какая тайная сила влекла его к ангелочку, но чувствовал, что он всегда знал его и всегда любил, любил больше, чем перочинный ножичек, больше, чем отца, и больше, чем все остальное. Полный недоумения, тревоги, непонятого восторга, Сашка сложил руки у груди и шептал:

– Милый... милый ангелочек!

И чем внимательнее он смотрел, тем значительнее, важнее становилось выражение ангелочка. Он был бесконечно далек и непохож на все, что его здесь окружало. Другие игрушки как будто гордились тем, что они висят, нарядные, красивые, на этой сверкающей елке, а он был грустен и боялся яркого назойливого света, и нарочно скрылся в темной зелени, чтобы никто не видел его. Было бы безумной жестокостью прикоснуться к его нежным крылышкам.

– Милый... милый! – шептал Сашка.

Голова Сашкина горела. Он заложил руки за спину и в полной готовности к смертельному бою за ангелочка прохаживался осторожными и крадущимися шагами; он не смотрел на ангелочка, чтобы не привлечь на него внимания других, но чувствовал, что он еще здесь, не улетел. В дверях показалась хозяйка – важная высокая дама с светлым ореолом седых, высоко зачесанных волос. Дети окружили ее с выражением своего восторга, а маленькая девочка, та, что прыгала, утомленно повисла у нее на руке и тяжело моргала сонными глазками. Подошел и Сашка. Горло его перехватывало.

– Тетя, а тетя, – сказал он, стараясь говорить ласково, но выходило еще более грубо, чем всегда. – Те... Тетечка.

Она не слыхала, и Сашка нетерпеливо дернул ее за платье.

– Чего тебе? Зачем ты дергаешь меня за платье? – удивилась седая дама. – Это невежливо.

– Те... тетечка. Дай мне одну штуку с елки, – ангелочка.

– Нельзя, – равнодушно ответила хозяйка. – Елку будем на Новый год разбирать. И ты уже не маленький и можешь звать меня по имени, Марьей Дмитриевной.

Сашка чувствовал, что он падает в пропасть, и ухватился за последнее средство.

– Я раскаиваюсь. Я буду учиться, – отрывисто говорил он.

Но эта формула, оказывавшая благотворное влияние на учителей, на седую даму не произвела впечатления.

– И хорошо сделаешь, мой друг, – ответила она так же равнодушно.

Сашка грубо сказал:

– Дай ангелочка.

– Да нельзя же! – говорила хозяйка. – Как ты этого не понимаешь?

Но Сашка не понимал, и, когда дама повернулась к выходу, Сашка последовал за ней, бессмысленно глядя на ее черное, шелестящее платье. В его горячечно работавшем мозгу мелькнуло воспоминание, как один гимназист его класса просил учителя поставить тройку, а когда получил отказ, стал перед учителем на колени, сложил руки ладонь к ладони, как на молитве, и заплакал. Тогда учитель рассердился, но тройку все-таки поставил. Своевременно Сашка увековечил эпизод в карикатуре, но теперь иного средства не оставалось. Сашка дернул тетку за платье и, когда она обернулась, упал со стуком на колени и сложил руки вышеупомянутым способом. Но заплакать не мог.

– Да ты с ума сошел! – воскликнула седая дама и оглянулась: по счастью, в кабинете никого не было. – Что с тобой?

Стоя на коленях, со сложенными руками, Сашка с ненавистью посмотрел на нее и грубо потребовал:

– Дай ангелочка!

Глаза Сашкины, впившиеся в седую даму и ловившие на ее губах первое слово, которое они произнесут, были очень нехороши, и хозяйка поспешила ответить:

– Ну, дам, дам. Ах, какой ты глупый! Конечно, я дам тебе, что ты просишь, но почему ты не хочешь подождать до Нового года? Да вставай же! И никогда, – поучительно добавила седая дама, – не становись на колени: это унижает человека. На колени можно становиться только перед Богом.

«Толкуй там», – думал Сашка, стараясь опередить тетку и наступая ей на платье.

Когда она сняла игрушку, Сашка впился в нее глазами, болезненно сморщил нос и растопырил пальцы. Ему казалось, что высокая дама ломает ангелочка.

– Красивая вещь, – сказала дама, которой стало жаль изящной и, по-видимому, дорогой игрушки. – Кто это повесил ее сюда? Ну, послушай, зачем эта игрушка тебе? Ведь ты такой большой, что будешь ты с нею делать?.. Вон там книги есть, с рисунками. А это я обещала Коле отдать, он так просил, – солгала она.

Терзания Сашки становились невыносимыми. Он судорожно стиснул зубы и, показалось, даже скрипнул ими. Седая дама больше всего боялась сцен и потому медленно протянула к Сашке ангелочка.

– Ну, на уж, на, – с неудовольствием сказала она. – Какой настойчивый!

Обе руки Сашки, которыми он взял ангелочка, казались цепкими и напряженными, как две стальные пружины, но такими мягкими и осторожными, что ангелочек мог вообразить себя летящим по воздуху.

– А-ах! – вырвался продолжительный, замирающий вздох из груди Сашки, и на глазах его сверкнули две маленькие слезинки и остановились там, непривычные к свету. Медленно приближая ангелочка к своей груди, он не сводил сияющих глаз с хозяйки и улыбался тихой и кроткой улыбкой, замирая в чувстве неземной радости. Казалось, что когда нежные крылышки ангелочка прикоснутся к впалой груди Сашки, то случится что-то такое радостное, такое светлое, какого никогда еще не происходило на печальной, грешной и страдающей земле.

– А-ах! – пронесся тот же замирающий стон, когда крылышки ангелочка коснулись Сашки. И перед сиянием его лица словно потухла сама нелепо разукрашенная, нагло горящая елка, – и радостно улыбнулась седая, важная дама, и дрогнул сухим лицом лысый господин, и замерли в живом молчании дети, которых коснулось веяние человеческого счастья. И в этот короткий момент все заметили загадочное сходство между неуклюжим, выросшим из своего платья гимназистом и одухотворенным рукой неведомого художника личиком ангелочка.

Но в следующую минуту картина резко изменилась. Съежившись, как готовящаяся к прыжку пантера, Сашка мрачным взглядом обводил окружающих, ища того, кто осмелится отнять у него ангелочка.

– Я домой пойду, – глухо сказал Сашка, намечая путь в толпе. – К отцу.

III

Мать спала, обессилив от целого дня работы и выпитой водки. В маленькой комнатке, за перегородкой, горела на столе кухонная лампочка, и слабый желтоватый свет ее с трудом проникал через закопченное стекло, бросая странные тени на лицо Сашки и его отца.

– Хорош? – спрашивал шепотом Сашка.

Он держал ангелочка в отдалении и не позволял отцу дотрогиваться.

– Да, в нем есть что-то особенное, – шептал отец, задумчиво всматриваясь в игрушку.

Его лицо выражало то же сосредоточенное внимание и радость, как и лицо Сашки.

– Ты погляди, – продолжал отец, – он сейчас полетит.

– Видел уже, – торжествующе ответил Сашка. – Думаешь, слепой? А ты на крылышки глянь. Цыц, не трогай!

Отец отдернул руку и темными глазами изучал подробности ангелочка, пока Саша настаивательно шептал:

– Экая, братец, у тебя привычка скверная за все руками хвататься. Ведь сломать можешь!

На стене вырезывались уродливые и неподвижные тени двух склонившихся голов: одной большой и лохматой, другой маленькой и круглой. В большой голове происходила странная, мучительная, но в то же время радостная работа. Глаза, не мигая, смотрели на ангелочка, и под этим пристальным взглядом он становился больше и светлее, и крылышки его начинали трепетать бесшумным трепетаньем, а все окружающее – бревенчатая, покрытая копотью стена, грязный стол, Сашка, – все это сливалось в одну ровную серую массу, без теней, без света. И чудилось погибшему человеку, что он услышал жалеющий голос из того чудного мира, где он жил когда-то и откуда был навеки изгнан. Там не знают о грязи и унылой брани, о тоскливой, слепо-жестокоей борьбе эгоизмов; там не знают о муках человека, поднимаемого со смехом на улице, избиваемого грубыми руками сторожей. Там чисто, радостно и светло, и все это чистое нашло приют в душе ее, той, которую он любил больше жизни и потерял, сохранив ненужную жизнь. К запаху воска, шедшему от игрушки, примешивался неуловимый аромат, и чудилось погибшему человеку, как прикасались к ангелочку ее дорогие пальцы, которые он хотел бы целовать по одному и так долго, пока смерть не сомкнет его уста навсегда. Оттого и была так красива эта игрушечка, оттого и было в ней что-то особенное, влекущее к себе, не передаваемое словами. Ангелочек спустился с неба, на котором была его душа, и внес луч

света в сырую, пропитанную чадом комнату и в черную душу человека, у которого было отнято все: и любовь, и счастье, и жизнь.

И рядом с глазами отжившего человека сверкали глаза начинающего жить и ласкали ангелочка. И для них исчезло настоящее и будущее: и вечно печальный и жалкий отец, и грубая, невыносимая мать, и черный мрак обид, жестокостей, унижений и злобствующей тоски. Бесформенны, туманны были мечты Сашки, но тем глубже волновали они его смятенную душу. Все добро, сияющее над миром, все глубокое горе и надежду тоскующей о Боге души впитал в себя ангелочек, и оттого он горел таким мягким божественным светом, оттого трепетали бесшумным трепетаньем его прозрачные стрекозиные крылышки.

Отец и сын не видели друг друга; по-разному тосковали, плакали и радовались их больные сердца, но было что-то в их чувстве, что сливало воедино сердца и уничтожало бездонную пропасть, которая отделяет человека от человека и делает его таким одиноким, несчастным и слабым. Отец несознательным движением положил руку на шею сына, и голова последнего так же невольно прижалась к чахоточной груди.

– Это она дала тебе? – прошептал отец, не отводя глаз от ангелочка.

В другое время Сашка ответил бы грубым отрицанием, но теперь в душе его сам собой прозвучал ответ, и уста спокойно произнесли заведомую ложь.

– А то кто же? Конечно, она.

Отец молчал; замолк и Сашка. Что-то захрипело в соседней комнате, затрещало, на миг стихло, и часы бойко и торопливо отчеканили: час, два, три.

– Сашка, ты видишь когда-нибудь сны? – задумчиво спросил отец.

– Нет, – сознался Сашка. – А, нет, раз видел: с крыши упал. За голубями лазили, я и сорвался.

– А я постоянно вижу. Чудные бывают сны. Видишь все, что было, любишь и страдаешь, как наяву...

Он снова замолк, и Сашка почувствовал, как задрожала рука, лежавшая на его шее. Все сильнее дрожала и дергалась она, и чуткое безмолвие ночи внезапно нарушилось всхлипывающим, жалким звуком сдерживаемого плача. Сашка сурово задвигал бровями и осторожно, чтобы не потревожить тяжелую, дрожащую руку, скovyрнул с глаза слезинку. Так странно было видеть, как плачет большой и старый человек.

– Ах, Саша, Саша! – всхлипывал отец. – Зачем все это?

– Ну, что еще? – сурово прошептал Сашка. – Совсем, ну совсем как маленький.

– Не буду... не буду, – с жалкой улыбкой извинился отец. – Что уж... зачем?

Заворочалась на своей постели Феоктиста Петровна. Она вздохнула и забормотала громко и странно-настойчиво: «Дерюжку держи... держи, держи, держи». Нужно было ложиться спать, но до этого устроить на ночь ангелочка. На земле оставлять его было невозможно; он был повешен на ниточке, прикрепленной к отдушине печки, и отчетливо рисовался на белом фоне кафелей. Так его могли видеть оба – и Сашка и отец. Поспешно набросав в угол всякого тряпья, на котором он спал, отец так же быстро разделся и лег на спину, чтобы поскорее начать смотреть на ангелочка.

– Что же ты не раздеваешься? – спросил отец, зябко кутаясь в прорванное одеяло и поправляя наброшенное на ноги пальто.

– Не к чему. Скоро встану.

Сашка хотел добавить, что ему совсем не хочется спать, но не успел, так как заснул с такой быстротой, точно пошел ко дну глубокой и быстрой реки. Скоро заснул и отец. Кроткий покой и безмятежность легли на истомленное лицо человека, который отжил, и смелое личико человека, который еще только начинал жить.

А ангелочек, повешенный у горячей печки, начал таять. Лампа, оставленная гореть по настоянию Сашки, наполняла комнату запахом керосина и сквозь закопченное стекло бросала

печальный свет на картину медленного разрушения. Ангелочек как будто шевелился. По розовым ножкам его скатывались густые капли и падали на лежанку. К запаху керосина присоединился тяжелый запах топленого воска. Вот ангелочек встрепенулся, словно для полета, и упал с мягким стуком на горячие плиты. Любопытный прусак пробежал, обжигаясь, вокруг бесформенного слитка, взобрался на стрекозиное крылышко и, дернув усиками, побежал дальше.

В завешенное окно пробивался синеватый свет начинающегося дня, и на дворе уже застучал железным черпаком зазябший водовоз.

Молчание

11

I

В одну лунную майскую ночь, когда пели соловьи, в кабинет к о. Игнатию вошла его жена. Лицо ее выражало страдание, и маленькая лампочка дрожала в ее руках. Подойдя к мужу, она коснулась его плеча и, всхлипнув, сказала:

– Отец, пойдем к Верочке!

Не поворачивая головы, о. Игнатий поверх очков исподлобья взглянул на попадью и смотрел долго и пристально, пока она не махнула свободной рукой и не опустилась на низенький диван.

– Какие вы оба с ней... безжалостные! – выговорила она медленно, с сильным ударением на последних слогах, и доброе, пухлое лицо ее исказилось гримасой боли и ожесточения, словно на лице хотела она показать, какие это жестокие люди – муж ее и дочь.

О. Игнатий усмехнулся и встал. Закрыв книгу, он снял очки, положил их в футляр и задумался. Большая черная борода, перевитая серебряными нитями, красивым изгибом легла на его грудь и медленно подымалась при глубоком дыхании.

– Ну, пойдем! – сказал он.

Ольга Степановна быстро встала и попросила заискивающим, робким голосом:

– Только не брани ее, отец! Ты знаешь, какая она...

Комната Веры находилась в мезонине, и узенькая деревянная лестница гнулась и стонала под тяжелыми шагами о. Игнатия. Высокий и грузный, он наклонял голову, чтобы не удариться о пол верхнего этажа, и брезгливо морщился, когда белая кофточка жены слегка задевала его лицо. Он знал, что ничего не выйдет из их разговора с Верой.

– Чего это вы? – спросила Вера, поднимая одну обнаженную руку к глазам. Другая рука лежала поверх белого летнего одеяла и почти не отделялась от него, такая она была белая, прозрачная и холодная.

– Верочка... – начала мать, но всхлипнула и умолкла.

– Вера! – сказал отец, стараясь смягчить свой сухой и твердый голос. – Вера, скажи нам, что с тобою?

Вера молчала.

– Вера, разве мы, твоя мать и я, не заслуживаем твоего доверия? Разве мы не любим тебя? И разве есть у тебя кто-нибудь ближе нас? Скажи нам о твоем горе, и, поверь мне, человеку старому и опытному, тебе будет легче. Да и нам. Посмотри на старуху мать, как она страдает...

– Верочка!..

– И мне... – сухой голос дрогнул, точно в нем что переломилось, – и мне, думаешь, легко? Как будто не вижу я, что поедает тебя какое-то горе... а какое? И я, твой отец, не знаю его. Разве должно так быть?

Вера молчала. О. Игнатий с особенной осторожностью провел по своей бороде, словно боялся, что пальцы против воли вопьются в нее, и продолжал:

– Против моего желания поехала ты в Петербург – разве я проклял тебя, послушницу? Или денег тебе не давал? Или, скажешь, не ласков был я? Ну, что же молчишь? Вот он, Петербург-то твой!

¹¹ Впервые – в «Журнале для всех», 1900, № 12, декабрь; с посвящением Елизавете Михайловне Добровой (1871–1943) – сестре А. М. Велигорской. Отдельным изданием выпущен в «Дешевой библиотеке «Знание», № 53 (СПб., 1906).

О. Игнатий умолк, и ему представилось что-то большое, гранитное, страшное, полное неведомых опасностей и чуждых, равнодушных людей. И там, одинокая, слабая, была его Вера, и там погубили ее. Злая ненависть к страшному и непонятному городу поднялась в душе о. Игнатия и гнев против дочери, которая молчит, упорно молчит.

– Петербург здесь ни при чем, – угрюмо сказала Вера и закрыла глаза. – А со мной ничего. Идите-ка лучше спать, поздно.

– Верочка! – простонала мать. – Доченька, да откройся ты мне!

– Ах, мама! – нетерпеливо прервала ее Вера.

О. Игнатий сел на стул и засмеялся.

– Ну-с, так, значит, ничего? – иронически спросил он.

– Отец, – резко сказала Вера, приподнимаясь на постели, – ты знаешь, что я люблю тебя и мамочку. Но... Ну, так, скучно мне немножко. Пройдет все это. Право, идите лучше спать, и я спать хочу. А завтра или когда там – поговорим.

О. Игнатий порывисто встал, так что стул ударился о стену, и взял жену за руку.

– Пойдем!

– Верочка...

– Пойдем, говорю тебе! – крикнул о. Игнатий. – Если уже она Бога забыла, так мы-то!.. Что уже мы!

Почти насильно он вывел Ольгу Степановну, и, когда они спускались по лестнице, Ольга Степановна, замедляя шаги, говорила злым шепотом:

– У-у! Это ты, поп, сделал ее такой. У тебя переняла она эту манеру. Ты и ответишь. Ах я несчастная...

И она заплакала, часто моргая глазами, не видя ступенек и так опуская ногу, словно внизу была пропасть, в которую ей хотелось бы упасть.

С этого дня о. Игнатий перестал говорить с дочерью, но она словно не замечала этого. По-прежнему она то лежала у себя в комнате, то ходила и часто-часто вытирала ладонями рук глаза, как будто они были у нее засорены.

И, сдавленная двумя этими молчащими людьми, сама любившая шутку и смех, попадья робела и терялась, не зная, что говорить и что делать.

Иногда Вера выходила гулять. Через неделю после разговора она вышла вечером, по обыкновению. Более не видали ее живою, так как она в этот вечер бросилась под поезд, и поезд пополам перерезал ее.

Хоронил ее сам о. Игнатий. Жены в церкви не было, так как при известии о смерти Веры ее хватил удар. У нее отнялись ноги, руки и язык, и она неподвижно лежала в полутемной комнате, пока рядом с нею, на колокольне, перезванивали колокола. Она слышала, как вышли все из церкви, как пели против их дома певчие, и старалась поднять руку, чтобы перекреститься, но рука не повиновалась; хотела сказать: «Прощай, Вера!» – но язык лежал во рту громадный и тяжелый. И поза ее была так спокойна, что если бы кто-нибудь взглянул на нее, то подумал бы, что этот человек отдыхает или спит. Только глаза ее были открыты.

В церкви на похоронах было много народу, знакомых о. Игнатия и незнакомых, и все собравшиеся жалели Веру, умершую такою ужасною смертью, и старались в движениях и голосе о. Игнатия найти признаки тяжелого горя. Они не любили о. Игнатия за то, что он был в обхождении суров и горд, ненавидел грешников и не прощал их, а сам в то же время, завистливый и жадный, пользовался всяким случаем, чтобы взять с прихожанина лишнее. И всем хотелось видеть его страдающим, сломленным и сознающим, что он виновен дважды в смерти дочери: как жестокий отец и дурной священнослужитель, не могший уберечь от греха свою же плоть. И все пытливо смотрели на него, а он, чувствуя направленные на его спину взгляды, старался выпрямлять эту широкую и крепкую спину и думал не об умершей дочери, а о том, чтобы не уронить себя.

– Каляный поп! – сказал, кивая на него, столяр Карзенов, которому он не отдал пяти рублей за рамы.

И так, твердый и прямой, прошел о. Игнатий до кладбища и такой же вернулся назад. И только у дверей в комнату жены спина его согнулась немного; но это могло быть и оттого, что большинство дверей были низки для его роста. Войдя со свету, он с трудом мог рассмотреть лицо жены, а когда рассмотрел, то удивился, что оно совсем спокойно и на глазах нет слез. И не было в глазах ни гнева, ни горя – они были немы и молчали тяжело, упорно, как и все тучное, бессильное тело, вдавившееся в перину.

– Ну, что, как ты себя чувствуешь? – спросил о. Игнатий.

Но уста были немы; молчали и глаза. О. Игнатий положил руку на лоб: он был холодный и влажный, и Ольга Степановна ничем не выразила, что она ощутила прикосновение. И когда рука о. Игнатия была им снята, на него смотрели не мигая два серые глубокие глаза, казавшиеся почти черными от расширившихся зрачков, и в них не было ни печали, ни гнева.

– Ну, я пойду к себе, – сказал о. Игнатий, которому сделалось холодно и страшно.

Он прошел в гостиную, где все было чисто и прибрано, как всегда, и одетые белыми чехлами высокие кресла стояли точно мертвецы в саванах. На одном окне висела проволочная клетка, но была пуста, и дверца открыта.

– Настасья! – крикнул о. Игнатий, и голос показался ему грубым, и стало неловко, что он так громко кричит в этих тихих комнатах, тотчас после похорон дочери. – Настасья! – тише позвал он. – Где канарейка?

Кухарка, плакавшая так много, что нос у нее распух и стал красным, как свекла, грубо ответила:

– Известно где. Улетела.

– Зачем выпустила? – грозно нахмурил брови о. Игнатий.

Настасья расплакалась и, вытираясь концами ситцевого головного платка, сквозь слезы сказала:

– Душенька... барышнина... Разве можно ее держать?

И о. Игнатию показалось, что желтенькая веселая канарейка, певшая всегда с наклоненной головкой, была действительно душою Веры и что если бы она не улетела, то нельзя было бы сказать, что Вера умерла. И он еще больше рассердился на кухарку и крикнул:

– Вон! – и, когда Настасья не сразу попала в дверь, добавил: – Дура!

II

Со дня похорон в маленьком домике наступило молчание. Это не была тишина, потому что тишина – лишь отсутствие звуков, а это было молчание, когда те, кто молчит, казалось, могли бы говорить, но не хотят. Так думал о. Игнатий, когда входил в комнату жены и встречал упорный взгляд, такой тяжелый, словно весь воздух обращался в свинец и давил на голову и спину. Так думал он, рассматривая ноты дочери, в которых запечатлелся ее голос, ее книги и ее портрет, большой, писанный красками, портрет, который она привезла с собою из Петербурга. В рассматривании портрета у о. Игнатия установился известный порядок: сперва он глядел на щеку, освещенную на портрете, и представлял себе на ней царапину, которая была на мертвой щеке Веры и происхождения которой он не мог понять. И каждый раз он задумывался о причинах: если бы это задел поезд, он раздробил бы всю голову, а голова мертвой Веры была совсем невредима.

Быть может, ногой кто-нибудь задел, когда подбирали труп, или нечаянно ногтем?

Но долго думать о подробностях Вериней смерти было страшно, и о. Игнатий переходил к глазам портрета. Они были черные, красивые, с длинными ресницами, от которых внизу лежала густая тень, отчего белки казались особенно яркими, и оба глаза точно были заклю-

чены в черную, траурную рамку. Странное выражение придал им неизвестный, но талантливый художник: как будто между глазами и тем, на что они смотрели, лежала тонкая, прозрачная пленка. Немного похоже было на черную крышку рояля, на которую тонким, незаметным пластом налегла летняя пыль, смягчая блеск полированного дерева. И, как ни ставил портрет о. Игнатий, глаза неотступно следили за ним, но не говорили, а молчали; и молчание это было так ясно, что его, казалось, можно было услышать. И постепенно о. Игнатий стал думать, что он слышит молчание.

Каждое утро, после обедни, о. Игнатий приходил в гостиную, окидывал одним взглядом пустую клетку и всю знакомую обстановку комнаты, садился в кресло, закрывал глаза и слушал, как молчит дом. Это было странное что-то. Клетка молчала тихо и нежно, и чувствовались в этом молчании печаль, и слезы, и далекий, умерший смех. Молчание жены, смягченное стенами, было упорно, тяжело, как свинец, и страшно, так страшно, что в самый жаркий день о. Игнатию становилось холодно. Долгим, холодным, как могила, и загадочным, как смерть, было молчание дочери. Словно самому себе было мучительно это молчание и страстно хотело перейти в слово, но что-то сильное и тупое, как машина, держало его неподвижным и вытягивало, как проволоку. И где-то, на далеком конце, проволока начинала колебаться и звенеть тихо, робко и жалобно. О. Игнатий с радостью и страхом ловил этот зарождающийся звук и, опершись руками о ручки кресел, вытянув голову вперед, ждал, когда звук подойдет к нему. Но звук обрывался и умолкал.

– Глупости! – сердито говорил о. Игнатий и поднимался с кресел, все еще прямой и высокий.

В окно он видел залитую солнцем площадь, мощенную круглыми, ровными камнями, и напротив каменную стену длинного, без окон, сарая. На углу стоял извозчик, похожий на глиняное изваяние, и непонятно было, зачем он стоит здесь, когда по целым часам не показывалось ни одного прохожего.

III

Вне дома о. Игнатию приходилось говорить много: с причтом и с прихожанами, при исполнении треб, и иногда с знакомыми, где он играл в преферанс; но, когда он возвращался домой, он думал, что весь день молчал. Это происходило оттого, что ни с кем из людей о. Игнатий не мог говорить о том главном и самом для него важном, о чем он размышлял каждую ночь: отчего умерла Вера?

О. Игнатий не хотел понять, что теперь этого узнать нельзя, и думал, что узнать еще можно. Каждую ночь, – а они все теперь стали у него бессонными, – представлял он себе ту минуту, когда он и попадая в глухую полночь стояли у кровати Веры и он просил ее «Скажи!» И когда в воспоминаниях он доходил до этого слова, дальнейшее представлялось ему не так, как оно было. Закрытые глаза его, сохранившие в своем мраке живую, нетускнеющую картину той ночи, видели, как Вера поднимается на своей постели, улыбается и говорит... Но что она говорит? И это невысказанное слово Веры, которое должно разрешить все, казалось так близко, что если отогнуть ухо и задержать биение сердца, то вот-вот услышишь его, и в то же время так безнадежно далеко. О. Игнатий вставал с постели, протягивал вперед сложенные руки и, потрясая ими, просил:

– Вера!..

И ответом ему было молчание.

Однажды вечером о. Игнатий пришел в комнату Ольги Степановны, у которой он не был уже около недели, сел у ее изголовья и, отвернувшись от упорного, тяжелого взгляда, сказал:

– Мать! Я хочу поговорить с тобой о Вере. Ты слышишь?

Глаза молчали, и о. Игнатий, возвысив голос, заговорил строго и властно, как он говорил с исповедующимися:

– Я знаю, ты мыслишь, что я был причиной Вериной смерти. Но подумай, разве я любил ее меньше, чем ты? Странно ты рассуждаешь... Я был строг, а разве это мешало ей делать, что она хочет? Я пренебрег достоинством отца, я смиренно согнул свою шею, когда она не побоялась моего проклятья и поехала... туда. А ты – ты-то не просила ее остаться и не плакала, старая, пока я не велел замолчать? Разве я родил ее такой жестокой? Не твердил я ей о Боге, о смирении, о любви?

О. Игнатий быстро взглянул в глаза жены – и отвернулся.

– Что я мог сделать с ней, если она не хотела открыть своего горя? Приказывать – я приказал; просить – я просил. Что же, по-твоему, я должен был стать на колени перед девчонкой и плакать, как старая баба? В голове... откуда я знаю, что у нее в голове! Жестокая, бессердечная дочь!

О. Игнатий ударил кулаком по колену.

– Любви у нее не было – вот что! Что уж про меня говорить, уж я, известно... тиран... Тебя-то она любила? Тебя-то, которая плакала... да унижалась?

О. Игнатий беззвучно рассмеялся.

– Лю-любила! То-то, в утешение тебе и смерть такую выбрала. Жестокую, позорную смерть. Умерла на песке, в грязи... как с-собака, которую ногами в морду тыкают.

Голос о. Игнатия зазвучал тихо и хрипло.

– Стыдно мне! На улицу выйти стыдно! Из алтаря выйти стыдно! Перед Богом стыдно! Жестокая, недостойная дочь! В гробу проклясть бы тебя...

Когда о. Игнатий взглянул на жену, она была без чувств и пришла в себя только через несколько часов. И когда пришла, глаза ее молчали, и нельзя было понять, помнит она, что говорил ей о. Игнатий, или нет.

В ту же ночь – это была июльская лунная ночь, тихая, теплая и беззвучная, о. Игнатий на цыпочках, чтобы не услышали жена и сиделка, поднялся по лестнице и вошел в комнату Веры. Окно в мезонине не открывалось с самой смерти Веры, и воздух был сухой и жаркий, с легким запахом гари от накалившейся за день железной крыши. Чем-то нежилым и заброшенным веяло от помещения, в котором так давно отсутствовал человек и где дерево стен, мебель и другие предметы издавали тонкий запах непрерывного тления. Лунный свет яркой полосой падал на окно и на пол и, отраженный от белых, тщательно вымытых досок, сумеречным полусветом озарял углы, и белая чистая кровать с двумя подушками, большой и маленькой, казалась призрачной и воздушной. О. Игнатий открыл окно – и в комнату широкой струей полился свежий воздух, пахнувший пылью, недалекой рекой и цветущей липой, и еле слышное донеслось хоровое пение: вероятно, катались на лодках и пели. Неслышно ступая босыми ногами, похожий на белый призрак, о. Игнатий подошел к пустой кровати, подогнул колени и упал лицом вниз на подушки, обняв их, – туда, где должно было находиться Верино лицо. Он долго лежал так; песня стала громче и потом умолкла, а он все лежал, и длинные черные волосы рассыпались по плечам и постели.

Луна передвинулась, и в комнате стало темнее, когда о. Игнатий поднял голову и зашептал, вкладывая в голос всю силу долго сдерживаемой и долго не признаваемой любви и вслушиваясь в свои слова так, как будто слушал не он, а Вера.

– Дочь моя, Вера! Ты понимаешь, что это значит: дочь? Доченька! Сердце мое, и кровь моя, и жизнь моя. Твой старый... старенький отец, уже седой, уже слабый...

Плечи отца Игнатия задрожали, и вся грузная фигура заколыхалась. Подавляя дрожь, о. Игнатий шептал нежно, как маленькому ребенку:

– Старенький отец... просит тебя. Нет, Верочка, умоляет. Он плачет. Он никогда не плакал. Твое горе, деточка, твои страдания – они и мои. Больше, чем мои!

О. Игнатий покачал головой.

– Больше, Верочка. Ну что мне, старому, смерть? А ты... Ведь если бы ты знала, какая ты нежная, слабая и робкая! Помнишь, как ты поколола пальчик, и кровь капнула, а ты заплакала? Деточка моя! И ты ведь меня любишь, сильно любишь, я знаю. Каждое утро ты целуешь мою руку. Скажи, скажи, о чем тоскует твоя головка, и я – вот этими руками – я удушю твое горе. Они еще сильны, Вера, эти руки.

Волосы о. Игнатия встряхнулись.

– Скажи!

О. Игнатий впился глазами в стену и протянул руки.

– Скажи!

В комнате было тихо, из глубокой дали пронесся продолжительный и прерывистый свисток паровоза.

О. Игнатий, поводя кругом расширившимися глазами, точно перед ним встал страшный призрак изуродованного трупа, медленно приподнялся с колен и неверным движением поднес к голове руку с растопыренными и напряженно выпрямленными пальцами. Отступив к двери, о. Игнатий отрывисто шепнул:

– Скажи!

И ответом ему было молчание.

IV

На другой день, после раннего и одинокого обеда, о. Игнатий пошел на кладбище – в первый раз после смерти дочери. Было жарко, безлюдно и тихо, как будто этот жаркий день был только освещенной ночью, но, по привычке, о. Игнатий старательно выпрямлял спину, сурово смотрел по сторонам и думал, что он все такой же, как прежде; он не замечал ни новой и страшной слабости в ногах, ни того, что длинная борода его стала совсем белой, словно жестокий мороз ударил на нее. Дорога к кладбищу шла по длинной прямой улице, слегка поднимавшейся вверх, и в конце ее белела арка кладбищенских ворот, похожая на черный, вечно открытый рот, окаймленный блестящими зубами.

Могила Веры находилась в глубине кладбища, где кончались усыпанные песком дорожки, и о. Игнатию долго пришлось путаться в узеньких тропинках, ломаной линией проходивших между зеленых бугорков, всеми забытых и всеми покинутых. Местами попадались покосившиеся, позеленевшие от старости памятники, изломанные решетки и большие, тяжелые камни, вросшие в землю и с какой-то угрюмой, старческой злобой давившие ее. К одному из таких камней прижималась могила Веры. Она была покрыта новым пожелтевшим дерном, но кругом нее все зеленело. Рябина обнялась с кленом, а широко раскинувшийся куст орешника протягивал над могилой свои гибкие ветви с пушистыми, шершавыми листьями. Усевшись на соседнюю могилу и передохнув, о. Игнатий оглянулся кругом, бросил взгляд на безоблачное, пустынное небо, где в полной неподвижности висел раскаленный солнечный диск, – и тут только ощутил ту глубокую, ни с чем не сравнимую тишину, которая царит на кладбищах, когда нет ветра и не шумит мертвевшая листва. И снова о. Игнатию пришла мысль, что это не тишина, а молчание. Оно разливалось до самых кирпичных стен кладбища, тяжело переползало через них и затопляло город. И конец ему только там – в серых, упрямо и упорно молчащих глазах.

О. Игнатий передернул похолодевшими плечами и опустил глаза вниз, на могилу Веры. Он долго смотрел на пожелтевшие коротенькие стебли травы, вырванной с землею откуда-нибудь с широкого, обвеваемого ветром поля и не успевшей сродниться с чуждой почвой, – и не мог представить, что там, под этой травой, в двух аршинах от него, лежит Вера. И эта близость казалась непостижимой и вносила в душу смущение и странную тревогу. Та, о кото-

рой о. Игнатий привык думать, как о навеки исчезнувшей в темных глубинах бесконечного, была здесь, возле... и трудно было понять, что ее все-таки нет и никогда не будет. И о. Игнатию чудилось, что если он скажет какое-то слово, которое он почти ощущал на своих устах, или сделает какое-то движение, Вера выйдет из могилы и встанет такая же высокая, красивая, какую была. И не только одна она встанет, но встанут и все мертвецы, которые так страшно ощутимы в своем торжественно-холодном молчании.

О. Игнатий снял широкополую черную шляпу, расправил волнистые волосы и шепотом сказал:

– Вера!

Ему стало неловко, что его может услышать кто-нибудь посторонний, и, встав на могилу, о. Игнатий взглянул поверх крестов. Никого не было, и он уже громко повторил:

– Вера!

Это был старый голос о. Игнатия, сухой и требовательный, и странно было, что с такою силою высказанное требование остается без ответа.

– Вера!

Громко и настойчиво звал голос, и, когда он умолкал, с минуту чудилось, что где-то внизу звучал неясный ответ. И о. Игнатий, еще раз оглянувшись кругом, отстранил волосы от уха и прилег им к жесткому, колючему дерну.

– Вера, скажи!

И с ужасом почувствовал о. Игнатий, что в ухо его вливается что-то могильно-холодное и студит мозг и что Вера говорит, – но говорит она все тем же долгим молчанием. Все тревожнее и страшнее становится оно, и когда о. Игнатий с усилием отдирает от земли голову, бледную, как у мертвеца, ему кажется, что весь воздух дрожит и трепещет от гулкого молчания, словно на этом страшном море поднялась дикая буря. Молчание душит его; оно ледяными волнами перекачивается через его голову и шевелит волосы; оно разбивается о его грудь, стонущую под ударами. Дрожа всем телом, бросая по сторонам острые и внезапные взгляды, о. Игнатий медленно поднимается и долгим, мучительным усилием старается выпрямить спину и придать гордую осанку дрожащему телу. И это удается ему. С намеренной медлительностью о. Игнатий отряхивает колени, надевает шляпу, трижды крестит могилу и идет ровною, твердою поступью, но не узнает знакомого кладбища и теряет дорогу.

– Заблудился! – усмехается о. Игнатий и останавливается на разветвлении тропинок.

Но стоит одну секунду и, не думая, сворачивает налево, потому что ждать и стоять нельзя. Молчание гонит. Оно поднимается от зеленых могил; им дышат угрюмые серые кресты; тонкими, удушающими струями оно выходит из всех пор земли, насыщенной трупами. Все быстрее становятся шаги о. Игнатия. Оглушенный, он кружится по одним и тем же дорожкам, перескакивает могилы, натывается на решетки, цепляется руками за колючие жестяные венки, рвется в клочья мягкая материя. Только одна мысль о выходе осталась в его голове. Из стороны в сторону мечется он и, наконец, бесшумно бежит, высокий и необыкновенный в развевающейся рясе и с плывущими по воздуху волосами. Сильнее, чем самого вставшего из гроба мертвеца, испугался бы всякий, встретив эту дикую фигуру бегущего, прыгающего и размахивающего руками человека, увидев его перекосившееся безумное лицо, услышав глухой хрип, выходящий из его открытого рта.

Со всего разбегу о. Игнатий выскочил на площадку, в конце которой белела невысокая кладбищенская церковь. У притвора на низенькой лавке дремал старичок, по виду дальний богомolec, и возле него, наскакивая друг на друга, спорили и бранились две старухи нищенки.

Когда о. Игнатий подходил к дому, уже темнело и в комнате Ольги Степановны горел огонь. Не раздеваясь и не снимая шляпы, пыльный и оборванный, о. Игнатий быстро прошел к жене и упал на колени.

– Мать... Оля... Пожалей же меня! – рыдал он. – Я с ума схожу.

И он бился головой о край стола и рыдал бурно, мучительно, как человек, который никогда не плачет. И он поднял голову, уверенный, что сейчас свершится чудо и жена заговорит и пожалеет его.

– Родная!

Всем большим телом потянулся он к жене – и встретил взгляд серых глаз. В них не было ни сожаления, ни гнева. Быть может, жена прощала и жалела его, но в глазах не было ни жалости, ни прощения. Они были немые и молчали.

И молчал весь темный опустевший дом.

Рассказ о Сергее Петровиче

12

I

В учении Ницше Сергея Петровича больше всего поразила идея сверхчеловека и все то, что говорил Ницше о сильных, свободных и смелых духом. Сергей Петрович плохо знал немецкий язык, по-гимназически, и с переводом ему было много труда. Работу значительно облегчал Новиков, товарищ Сергея Петровича, с которым он в течение полутора учебных лет жил в одной комнате и который в совершенстве владел немецким языком и был начитан по философии. Но в октябре 189... года, когда до окончания перевода «Так сказал Заратустра» оставалось всего несколько глав, Новиков был административно выслан из Москвы за скандалы, и своими силами Сергей Петрович подвинулся вперед очень мало, но не сожалел об этом и вполне удовлетворялся прочитанным, которое он целыми страницами знал наизусть и притом по-немецки. Дело в том, что в переводе, как бы он ни был хорош, афоризмы много теряли, становились слишком просты, понятны, и в их таинственной глубине как будто просвечивало дно; когда же Сергей Петрович смотрел на готические очертания немецких букв, то в каждой фразе, помимо прямого его смысла, он видел что-то не передаваемое словами, и прозрачная глубина темнела и становилась бездонною. Иногда ему приходила мысль, что, если на свете явится новый пророк, он должен говорить на чужом языке, чтобы все поняли его. Конца книги, единственной из сочинений Ницше, которую оставил Новиков, он так и не перевел.

Сергей Петрович был студент третьего курса естественного факультета. В Смоленске у него жили родители, братья и сестры, из которых одни были старше его, другие моложе. Один брат, самый старший, был уже доктором и хорошо зарабатывал, но помогать семье не мог, так как обзавелся уже собственной семьей. Существовать Сергею Петровичу приходилось на пятнадцать рублей в месяц, и этого ему хватало, так как он обедал бесплатно в студенческой столовой, не курил и водки пил мало. Когда Новиков еще не уезжал, они пили очень много, но это ничего не стоило Сергею Петровичу, потому что все расходы по пьянству брал на себя Новиков, у которого постоянно имелись дорогие уроки по языкам. Раз по вине того же Новикова, любившего в пьяном виде сидеть на деревьях бульвара, куда взлезал за ним и Сергей Петрович, мировой судья приговорил обоих товарищей к десяти рублям штрафа, и штраф уплатил Новиков. При простоте товарищеских отношений это было вполне естественно и ни в ком не возбуждало сомнений, кроме самого Сергея Петровича. Но отсутствие денег было фактом, с которым приходилось мириться.

Существовали и другие факты, с которыми приходилось мириться, и когда Сергей Петрович глубже вглядывался в свою жизнь, он думал, что и она – факт из той же категории. Он был некрасив, – не безобразен, а некрасив, как целые сотни и тысячи людей. Плоский нос, толстые губы и низкий лоб делали его похожим на других и стирали с его лица индивидуальность. К зеркалу он подходил редко и даже чесался так, на ощупь, а когда подходил, то долго всматривался в свои глаза, и они казались ему мутными и похожими на гороховый кисель, в который свободно проникает нож и до самого дна не натывается ни на что твердое. В этом отношении, как и во многих других, он отличался от друга своего Новикова, у которого были зоркие, смелые глаза, высокий лоб и правильно очерченный, красивый овал лица. И высокое туловище, когда на нем приходилось носить такую голову, казалось Сергею Петровичу не достоинством,

¹² Впервые – в журнале «Жизнь», 1900, № 10, октябрь.

а недостатком, и, быть может потому, он горбился, когда ходил. Но самым тяжелым для Сергея Петровича фактом казалось то, что он был неумен. В гимназии учителя считали его прямо глупым и в младших классах открыто высказывали это. По поводу одного его нелепого ответа батюшка назвал его «бестолочь смоленская и могилевская», и хотя прозвище и не привилось к нему, а стало нарицательным для всякого тупого ученика, Сергей Петрович не забыл его происхождения. И изо всего, кажется, класса он один оставался до конца без прозвища, если не считать имени «Сергей Петрович», которым величали его все: учителя, гимназисты и сторожа. Не было в нем ничего такого, на что можно было бы привесить остроумную кличку. В университете товарищи, очень вообще любившие распределять друг друга по уму, Сергея Петровича относили в разряд ограниченных, хотя никогда не высказывали этого ему прямо в лицо, но он догадывался сам по одному тому, что никто никогда не обращался к нему с серьезным вопросом и разговором, а всегда с шуткою. Стоило в то же время появиться Новикову, разговор тотчас переходил на серьезные темы. Вначале Сергей Петрович безмолвно протестовал против общего признания его ограниченным человеком и пытался сделать, сказать или написать что-нибудь умное, но, кроме смеха, ничего из этого не выходило. Тогда он убедился сам в своей ограниченности и убедился так крепко, что, если бы весь мир признал его гением, он не поверил бы ему. Ведь мир не знал и не мог знать того, что знал Сергей Петрович о себе. Мир мог услышать от него умную мысль, но он мог не знать, что мысль эта украдена Сергеем Петровичем или приобретена после такого труда, который совершенно обесценивал ее. То, что усваивалось другими на лету, ему стоило мучительных усилий и все-таки, даже врезавшись в память неизгладимо, оставалось чужим, посторонним, точно это была не живая мысль, а попавшая в голову книга, коловшая мозг своими углами. Особенное сходство с книгой придавало то обстоятельство, что всегда рядом с мыслью стояла ясная и отчетливая страница, на которой он ее прочел. Те же мысли, при которых не показывались страницы и которые Сергей Петрович считал поэтому своими, были самые простые, обыкновенные, не умные, и совершенно походили на тысячи других мыслей на земле, как и лицо его походило на тысячи других лиц. Трудно было помириться с этим фактом, но Сергей Петрович помирился. В сравнении с ним другие маленькие фактики – отсутствие талантов, слабая грудь, неловкость, безденежье – казались неважными.

Незаметно для самого себя Сергей Петрович сделался мечтателем, наивным и неглубоким. То он представлял себе, что он выигрывает 200 000 руб. и едет путешествовать по Европе, но дальше того, как он сядет в вагон, он ничего представить не мог, так как у него не было воображения. То он думал о каком-то чуде, которое немедленно сделает его красивым, умным и неотразимо привлекательным. После оперы он представлял себя певцом; после книги – ученым; выйдя из Третьяковской галереи – художником, но всякий раз фон составляла толпа, «они», – Новиков и другие, – которые преклоняются перед его красотой или талантом, а он делает их счастливыми. Когда длинными, неуверенными шагами, опустив голову в выцветшем картузе, Сергей Петрович шел в столовую, никому в голову не приходило, что этот невидный студент с плоским ординарным лицом в настоящую минуту владеет всеми сокровищами мира. В столовой он сжимался, наскоро проглатывал легонький обед и старался смотреть в сторону, когда проходил знакомый студент и глазами отыскивал свободное место. Он боялся таких встреч, так как никогда не знал, о чем говорить, а молча испытывал неловкость. Часто повторявшиеся мечты стали приобретать тень реальности, но чем ярче становилось представление того, чем мог и чем хотел бы быть Сергей Петрович, тем труднее становилось мириться с суровым фактом – жизнью.

Так же незаметно совершался разрыв с миром живых людей, и менее всех подозревал о нем Сергей Петрович. С привычкой к общественности, вынесенной из гимназии, он принимал участие во всех студенческих организациях и аккуратно посещал собрания. Там он слушал ораторов, шутил, когда с ним шутили, и потом ставил на клочке бумаги плюс или минус, а чаще

уклонялся от голосованья, так как не мог в такое короткое время решить, на какой стороне справедливость. Но в общем его решения всегда сходились с мнением большинства и терялись в нем. Ходил Сергей Петрович и в гости и всякий раз при этом напивался с своими хозяевами и другими гостями. Тогда он пел вместе с ними глухим, рыкающим басом, целовался и ездил к женщинам. Это были единственные женщины, которых он знал, и то только пьяный. Трезвому ему они внушали отвращение и страх. Других женщин, чистых и хороших, он не искал, так как был уверен, что ни одна не полюбит его. Были у него знакомые курсистки, и он краснел, кланяясь им на улице при встрече, но они никогда не говорили с этим ограниченным и некрасивым студентом, хотя знали, как и все, что его зовут Сергеем Петровичем. Таким образом, он не принадлежал, по виду, к студентам-одиночкам, проводившим глухую, никому не ведомую жизнь и появлявшимся только на экзаменах с массой писанных конспектов и с растерянным лицом, но в действительности у него совершенно отсутствовала живая связь с людьми, делающая общество их приятным и необходимым. И он не любил ни одного из тех, с кем шутил, пил водку и целовался.

Когда Сергей Петрович не мечтал и не занимался делом, он читал много и без разбору и только для того, чтобы прогнать скуку. Читать он не любил: серьезных книг – потому, что многого в них не понимал, романов – потому, что одни были слишком похожи на жизнь и печальны, как и она, другие же были лживы и неправдоподобны, как его мечты. Он мог мечтать о том, чтобы выиграть миллионы, но, когда он читал о таком случае в книге, ему становилось смешно и обидно за свои мечты. Правдивыми ему казались русские романы, но больно было читать их при мысли, что он один из таких же маленьких, источенных жизнью людей, о каких пишутся эти толстые и унылые книги. Но были два романа – оба переводные, которые он любил читать и перечитывать. Один из них он любил читать в дни печали и уныния, когда тоскливо плачущая и тяжело вздыхающая осень смотрела в окна и в душу, и стыдился говорить о нем. Это было «80 000 верст под водой» Ж. Верна. Его привлекала к себе могучая и стихийно свободная личность капитана Немо, ушедшего от людей в недоступные глубины океана и оттуда надменно презиравшего землю. Другую книгу была «Один в поле не воин» Шпильгагена, и он любил говорить о ней с товарищами и радовался, когда и они восторженно склонялись перед благородным деспотом Лео. Впоследствии, по совету Новикова, заметившего любовь Сергея Петровича к великим людям, он стал читать их биографии и читал с интересом, но каждый раз при этом думал: «Он был не такой, как я». И чем больше узнавал он великих людей, тем меньше становился сам.

Так жил Сергей Петрович до двадцати трех лет. На первом курсе он провалился по физике и с тех пор начал усиленно работать, а так как на естественном факультете работы много, то время проходило незаметно в железных объятиях труда. Понемногу притупилась острота печальных размышлений о незадавшейся жизни, и Сергей Петрович стал привыкать к тому, что он обыкновенный, неумный и неоригинальный человек. Мозг Сергея Петровича стоял на той грани, которая отделяет глупость от ума и откуда одинаково хорошо видно в обе стороны: можно созерцать и высшее благородство могучего интеллекта и понимать, какое счастье дает он своему обладателю, и видеть жалкую низость самодовольной глупости, счастливой за толстыми черепными стенами, неуязвимой, как в крепости. И теперь он чаще смотрел в эту сторону и видел, что существует много людей, которые хуже его, и вид этих людей доставляет ему радость и успокоение. Сергей Петрович стал меньше читать и больше пить водки, но пил ее не по многу за раз, как делал раньше, а по рюмкам перед обедом и перед ужином, и так ему нравилось больше, потому что было только приятно и весело и отсутствовали болезненные ощущения похмелья. Летом, в Смоленске, у него случился первый в жизни любовный роман, очень смешной для всех окружающих, но для него приятный, поэтический и новый. Героиней его была девушка, приходившая в их сад полоть гряды, некрасивая, глупая и добрая. Сергей Петрович не знал, за что она полюбила его, и чувствовал к ней легкое презрение за ее любовь,

но ему нравились и таинственные свидания в темном саду, и шепот, и страх. Когда осенью он уезжал в Москву, она плакала, а он сознавал себя как будто новым – гордым и довольным собою, так как и он оказался не хуже других: и у него есть настоящая женщина, которая любит его без денег и плачет от разлуки. Как и многие другие, Сергей Петрович не думал, что он живет, и перестал замечать жизнь, а она текла, плоская, мелкая и тусклая, как болотный ручей. Но бывали мгновения, когда он точно просыпался от глубокого сна и с ужасом сознавал, что он все тот же мелкий, ничтожный человек; тогда он по целым ночам мечтал о самоубийстве, пока злая и требовательная ненависть к себе и к своей доле не сменялась мирною и кроткою жалостью. А потом жизнь снова овладевала им, и он еще раз повторял себе, что она – факт, с которым нужно мириться.

В это именно время, когда полное примирение с фактами становилось возможным и близким, он сошелся с Новиковым. Товарищи не понимали этого странного сближения, так как Новиков считался самым умным, а Сергей Петрович самым ограниченным из земляков. Под конец они стали думать, что самолюбивый и тщеславный Новиков хочет иметь при себе зеркало, в котором отражался бы его блестящий ум, и смеялись тому, что зеркало он выбрал такое кривое и дешевое. Уверения Новикова, что Сергей Петрович вовсе не так глуп, как кажется, они считали выражением того же самолюбия. Возможно, что это было и так, но Новиков был настолько сдержан и тактичен в проявлениях своего превосходства, что Сергей Петрович полюбил его. И это был первый человек, которого он любил, и первый друг, которого дала ему жизнь. Он гордился Новиковым, читал те книги, которые читал тот, и покорно следовал за ним по ресторанам, лазил на деревья и думал о своем счастье, позволившем ему быть другом человека, который судьбою предназначен для великих дел. С почтительным удивлением следил он за работой его кипучего ума, оставлявшего за собою, как версты, философские, исторические и экономические теории и смело стремившегося вперед, все вперед. Жалкою трусцою плелся за ним Сергей Петрович, пока не увидел, что с каждым днем отстает все больше. И это был тяжелый день, когда Сергей Петрович, хотевший утопить свое я в чужом, глубоком и сильном я, понял, что это невозможно, и что он так же умственно далек от своего друга, с которым жил, как и от тех великих, о которых он читал. И помог понять это Ницше, которого ему открыл тот же Новиков.

II

Когда Сергей Петрович прочел часть «Так сказал Заратустра», ему показалось, что в ночи его жизни взошло солнце. Но то было полуночное, печальное солнце, и не картину радости осветило оно, а холодную, мертвенно-печальную пустыню, какой была душа и жизнь Сергея Петровича. Но все же то был свет, и он обрадовался свету, как никогда и ничему не радовался в жизни. В это недавнее время, о котором идет речь, в России о Ницше знали только немногие, и ни газеты, ни журналы ни слова не говорили о нем. И это глубокое молчание, которым был обвеян Заратустра, делало его слова значительными, сильными и чистыми, как будто они падали к Сергею Петровичу прямо с неба. Он не знал и не думал о том, кто такой Ницше, много ему лет или мало, жив он или умер. Он видел перед собою только мысли, облеченные в строгую и мистическую форму готических букв, и это отрешение мыслей от мозга, их создавшего, от всего земного, сопровождавшего их рождение, создало им божественность и вечность. И как пламенно верующий юный жрец, к которому спустилось долгожданное божество, он таил его от посторонних взглядов и испытывал боль, когда к божеству прикасались грубые и дерзкие руки. То были руки Новикова.

Иногда вечером, после совместного перевода нескольких глав, Новиков начинал говорить о прочитанном. Он сидел за своим столом, как за кафедрой, и говорил звучно, ясно и раздельно, отчетливо выговаривая каждое слово, ставя логические ударения и короткими паузами

отмечая знаки препинания. Крупная голова его, коротко остриженная и похожая на точеный шар, но с резкими выпуклостями лба, крепко и неподвижно сидела на короткой шее; лицо его всегда оставалось бледно, и при сильном волнении только оттопыренные уши пылали, как два кумачных лоскута, прикрепленных к желтому бильярдному шару. Говорил он о предшественниках Ницше в философии, о связи его учения с экономическими и общественными течениями века и утверждал, что Ницше скакнул на тысячу лет вперед со своим основным тезисом индивидуализма «я хочу». Иногда он смеялся над туманным языком книги, в котором ему чувствовалась деланность, и тогда Сергей Петрович делал слабые попытки возражать. То, что говорил Новиков, казалось ему очень умным, таким, до чего он сам не дойдет никогда, но не согласным с истиной. И он чувствовал, что яснее и ближе понимает слова Заратустры, но, когда он начал растолковывать их, выходило плоско и жалко и совсем непохоже на то, что он думал. И он умолкал, чувствуя злобу к своей голове и языку. Но случалось, что Новиков увлекался красотой ритмической речи Заратустры и подпадал под влияние недосказанного. Тогда он декламировал своим ясным и сильным голосом, и Сергей Петрович благоговейно слушал, склонив некрасивую плоскую голову, и каждое слово выжигалось в его сонном и тяжелом мозгу.

Сергей Петрович не заметил того момента, когда в нем кончилось спокойное созерцание фактов и тупая тоска мирящегося с ними. Было похоже на то, как будто к пороховому бочонку приложили огонь, а долго ли тлел фитиль, он не знал. Но он знал, кто зажег его. Это было видение сверхчеловека, того непостижимого, но человеческого существа, которое осуществило все заложенные в него возможности и полноправно владеет силою, счастьем и свободой. Странное то было видение. Яркое до боли в глазах и сердце, оно было смутно и неопределенно в своих очертаниях; чудесное и непостижимое, оно было просто и реально. И при ярком свете его Сергей Петрович рассматривал свою жизнь, и она казалась совсем новою и интересною, как знакомое лицо при зареве пожара. Он глядел вперед себя и назад, и то, что он видел, походило на длинный серый и узкий коридор, лишенный воздуха и света. Позади коридор терялся в серых воспоминаниях безрадостного детства, впереди утопал в сумраке такого же будущего. И на всем протяжении коридора не виднелось ни одного резкого, крутого поворота, ни одной двери наружу, туда, где сияет солнце и смеются и плачут живые люди. Кругом Сергея Петровича плывут по коридору серые тени людей, лишенных смеха и слез, и безмолвно кивают своими тупыми головами, над которыми так безжалостно насмеялась жестокая природа.

Пока Новиков не уезжал из Москвы, Сергей Петрович каждый день производил одну и ту же работу и сравнивал себя с товарищем, на котором ему чудился отблеск сверхчеловека. Он наблюдал его лицо, движения и мысли и краснел, когда Новиков ловил на себе его тупые, но внимательные взгляды. Позднею ночью, когда Новиков уже спал, Сергей Петрович прислушивался к его тихому и ровному дыханию и думал, что и дышит Новиков не так, как он. И этот спящий человек, которого он раньше любил, казался ему теперь чуждым и загадочным, и загадкою было все: и глубокое дыхание его, и мысли, скрытые под выпуклостью черепа, и рождение его, и смерть. И непонятно было, что под одною крышею лежат два человека, и у каждого из них все свое, отдельное, непохожее – и мысли и жизнь.

Сергей Петрович не почувствовал горя, когда Новикова выслали из Москвы. Те двадцать четыре часа, которые провел с ним Новиков, укладывая вещи и ругаясь, прошли незаметно, и товарищи оказались на вокзале. Они были трезвы, так как денег хватило только на дорогу.

– А я напрасно дал вам Ницше, Сергей Петрович, – сказал Новиков с той чопорной вежливостью, которая была одной из странностей их совместной жизни и не покидала их даже в пьяные минуты на деревьях бульвара.

– Почему, Николай Григорьевич?

Новиков промолчал, и Сергей Петрович добавил:

– Я едва ли буду читать его. Для меня довольно.

Прозвучал третий звонок.

- Ну, прощайте.
- Будете писать? – спросил Сергей Петрович.
- Нет. Я не люблю переписки. Но вы пишете.

После минутной нерешимости они поцеловались, неловко, не зная сколько нужно поцелуев, и Новиков уехал. И, оставшись один, Сергей Петрович понял, что он давно желал и ожидал этого дня, когда он останется с Ницше один и никто не будет мешать им. И, действительно, с этой минуты никто не мешал им.

III

С внешней стороны жизнь Сергея Петровича резко изменилась. Он совсем перестал ходить на лекции и практические занятия и бросил на полку начатое для зачета сочинение: «Сравнительная характеристика углеводов жирного ряда и углеводов ароматического ряда». Товарищей он также перестал посещать и появлялся только на собраниях, и то ненадолго. Однажды студенты поехали большой компанией к женщинам и встретили там Сергея Петровича, и, что было удивительно, совершенно трезвого. Как и раньше, он краснел, когда над ним стали шутить, и когда выпил, то пел и говорил заплетающимся языком о каком-то Заратустре. Кончилось тем, что он стал плакать, а потом буйнать, назвал всех их идиотами, а себя сверхчеловеком. После этого случая, над которым много смеялись, Сергея Петровича на некоторое время совсем утратили из виду.

С тех пор как Сергей Петрович появился на свет, ни разу голова его не работала так много и так упорно, как в эти короткие дни и долгие ночи. Бескровный мозг не повиновался ему и там, где он искал истины, ставил готовые формулы, понятия и фразы. Измученный, уставший, он напоминал собою рабочую лошадь, которая взвозит на гору тяжелый воз, и задыхается, и падает на колени, пока снова не погонит ее жгучий кнут. И таким кнутом было видение, мираж сверхчеловека, того, кто полноправно владеет силою, счастьем и свободой. Минутами густой туман заволакивал мысли, но лучи сверхчеловека разгоняли его, и Сергей Петрович видел свою жизнь так ясно и отчетливо, точно она была нарисована или рассказана другим человеком. Это не были мысли строго последовательные и выраженные словами, – это были видения.

Он видел человека, который называется Сергеем Петровичем и для которого закрыто все, что делает жизнь счастливою или горькою, но глубокою, человеческою. Религия и мораль, наука и искусство существовали не для него. Вместо горячей и деятельной веры, той, что двигает горами, он ощущал в себе безобразный комок, в котором привычка к обрядности переплеталась с дешевыми суевериями. Он не был ни настолько смел, чтобы отрицать Бога, ни настолько силен, чтобы верить в него; не было у него и нравственного чувства, и связанных с ним эмоций. Он не любил людей и не мог испытывать того великого блаженства, равного которому не создавала еще земля, – работать за людей и умирать за них. Но он не мог и ненавидеть их, – и никогда не суждено ему было испытать жгучего наслаждения борьбы с себе подобными и демонической радости победы над тем, что чтится всем миром, как святыня. Не мог он ни подняться так высоко, ни упасть так низко, чтобы господствовать над жизнью и людьми, – в одном случае стоя выше их законов и сам создавая их, в другом – находясь вне всего того, что обязательно и страшно для людей. В газетах Сергей Петрович читал о людях, которые убивают, крадут, насилуют, и каждый раз одна и та же мысль заканчивала чтение: «А я бы не мог». На улице он встречал людей, опустившихся до самого дна людского моря, – и здесь он говорил: «А я бы не мог». Изредка он слышал и читал о людях-героях, шедших на смерть во имя идеи или любви, и думал: «А я бы не мог». И он завидовал всем, и грешным и праведным, и в ушах его звучали беспощадно-правдивые слова Заратустры: «Если жизнь не удастся тебе, если ядовитый червь пожирает твое сердце, знай, что удастся смерть».

Сергей Петрович не ощущал потребности творить зло, но добрым быть он хотел. Это желание внушили ему книги и люди, и оно было сильно, но бесплодно и мучительно, как мучительна жажда света для прирожденного слепца. Он думал о своем будущем, и в нем не было места для добра.

По окончании университета Сергей Петрович намеревался поступить в акцизное ведомство, и, сколько он теперь ни думал, не мог понять, какое добро создаст он в должности акцизного чиновника. Он уже представлял себя, каким он будет честным, исполнительным, трудолюбивым. Он видел, как с медлительной и строгой постепенностью движется он по лестнице повышений и, достигнув средней ступеньки, останавливается, разбитый годами, нуждой и болезнями. Он понимал, что заслуги его перед жестокостями жизни будут оценены, и он будет праздновать свой тридцатилетний юбилей, как недавно праздновал его отец. На юбилее будут говорить речи, и он будет слушать их и плакать от умиления, как плакал его отец, и целоваться с такими же, как и он, старенькими, седенькими, изгрызанными жизнью бывшими и будущими юбилярами. Потом он умрет с мыслью, что оставляет после себя десяток таких же детей, каким он был сам, и в «Смоленском вестнике» будет напечатано коротенькое жизнеописание, в конце которого будет сказано, что умер полезный и честный работник. И Сергею Петровичу кажется, что эта посмертная похвала горька и больна, как удар бичом по живому обнаженному мясу. И больна она потому, что люди, желая сказать приятную неправду, сказали обидную и неоспоримую истину. И Сергей Петрович думает, что, если бы люди всегда понимали то, что говорит их язык, они не осмелились бы говорить о полезности и оскорблять уже оскорбленных.

Не сразу понял Сергей Петрович, в чем заключается его полезность, и долго ворочался и содрогался его мозг, подавленный непосильной работой. Но рассеивался туман под яркими лучами сверхчеловека, и то, что было неразрешимой загадкой, становилось простым и ясным. Он был полезен, и полезен многими своими свойствами. Он был полезен для рынка, как то безыменное «некто», которое покупает калоши, сахар, керосин и в массе своей создает дворцы для сильных земли; он был полезен для статистики и истории, как та безыменная единица, которая рождается и умирает и на которой изучают законы народонаселения; он был полезен и для прогресса, так как имел желудок и зябкое тело, заставлявшее гудеть тысячи колес и станков. И чем больше ходил Сергей Петрович по улицам и смотрел вокруг себя и за собою, тем очевиднее становилась для него его полезность. И сперва он заинтересовался ею, как открытием, и с новым чувством любопытства смотрел на богатые дома и роскошные экипажи и нарочно ездил лишний раз на конке, чтобы принести кому-то пользу своим пяточком, но скоро его стало раздражать сознание, что он не может сделать шагу, чтобы не оказаться кому-нибудь полезным, так как полезность его находится вне его воли.

И тогда он открыл в себе еще одну полезность, и она была самую горькою и обидною из всех и заставляла краснеть от стыда и боли. Это была полезность трупа, на котором изучают законы жизни и смерти, или илота, напоенного для того, чтобы другие видели, как дурно пить. Иногда ночью, в этот период душевного мятежа, Сергей Петрович представлял себе книги, которые пишутся о нем или о таких, как он. Он ясно видел печатные страницы, много печатных страниц, и свое имя на них. Он видел людей, которые пишут эти книги и на нем, на Сергее Петровиче, создают для себя богатство, счастье и славу. Одни рассказывают о том, какой он был жалкий, никуда не годный и никому не нужный, они не смеются и не издеваются над ним, – нет, они стараются изобразить его горе так жалко, чтобы люди плакали, а радость так, чтобы смеялись. С наивным эгоизмом сытых и сильных людей, которые говорят с такими же сильными, они стараются показать, что и в таких существах, как Сергей Петрович, есть кое-что человеческое; усиленно и горячо доказывают, что им бывает больно, когда бьют, и приятно, когда ласкают. И если у пишущих есть талант, и им удастся показать то, что они хотели, им ставят памятники, подножием которых является как будто бы гранит, а в действительности –

бесчисленные Сергей Петровичи. Другие тоже сожалеют о Сергее Петровиче, но говорят о нем по рассказанному первыми и старательно обсуждают, откуда берутся такие, как он, и куда деваются, и учат, как нужно поступать, чтобы вперед не было таких.

Для капиталиста полезен, как родник его богатства, для писателя – как ступенька к памятнику, для ученого – как величина, приближающая его к познанию истины, для читателя – как объект для упражнения в хороших чувствах, – вот полезность, которую нашел в себе Сергей Петрович. И всю его душу охватил стыд и глухой гнев человека, который долго не понимал, что над ним смеются, и, обернувшись, увидел оскаленные зубы и протянутые пальцы. Жизнь, с которой он так долго мирился, как с фактом, взглянула ему в лицо своими глубокими очами, холодными, серьезными и до ужаса непонятными в своей строгой простоте. Все то, что до сих пор смутно бродило в нем и проявлялось в неясных грезах и тупой тоске, заговорило громко и властно. Его *я*, то, которое он считал единственно истинным и независимым ни от слабого мозга, ни от вялого сердца, возмутилось в нем и потребовало всего, на что оно имело право.

– Я не хочу быть немым материалом для счастья других: я сам хочу быть счастливым, сильным и свободным, и имею на это право, – выговорил Сергей Петрович затаенную мысль, которая бродит во многих головах и много голов делает несчастными, но выговаривается так редко и с таким трудом.

И в тот момент, когда он впервые произнес эту ясную и точную фразу, он понял, что произносит приговор над тем, что называется Сергеем Петровичем и что никогда не может быть ни сильным, ни свободным. И он восстал против обезличившей его природы, восстал, как раб, которому цепи натерли кровавые язвы на теле, но который долго не признавал униженности бесправного рабства и покорно сгибал спину под бичом надсмотрщика. Это было чувство лошади, которой силою чуда даровано человеческое сознание и ум в тот самый миг, когда кнут полосуется ее спине, и у нее нет ни голоса, ни силы на сопротивление. И чем дольше, сильнее и безжалостнее был гнет, тем яростнее был гнев восставшего.

В это именно время Новиков получил от Сергея Петровича первое письмо, очень большое и мало понятное, так как Сергей Петрович совершенно не был в силах облечь в форму мыслей и слов все то, что он видел так ясно и хорошо. И Новиков не ответил на письмо, так как не любил переписки и был сильно занят пьянством, книгами и уроками по языкам. Одному из своих приятелей, которого он водил за собою по трактирам, он рассказал, однако, о Сергее Петровиче, о письме и о Ницше, и смеялся над Ницше, который так любил сильных, а делается проповедником для нищих духом и слабым.

Первым последствием возмущения был возврат Сергея Петровича к своим полузабытым и наивным мечтам. Но он не узнал их – так изменило их сознание права на счастье. И, отчаявшись в себе как в человеке, Сергей Петрович задумался над тем, мог ли бы он стать счастливым и при этих условиях. Счастье ведь так обширно и многогранно; лишенный возможности быть счастливым в одном, найдет свое счастье в другом. И ответ, который нашел для себя Сергей Петрович, принудил его восстать против людей, как он уже возмутился против природы.

IV

Жил Сергей Петрович недалеко от комитетской столовой в большом четырехэтажном доме, снизу доверху населенном квартирными хозяйками и студентами. У него была маленькая, но чистенькая комнатка, и соседи его, студенты, оказались народом тихим и непьющим, так что одинаково удобно было заниматься и думать, и если существовало что неприятное, так это постоянный чад из кухни по утрам. Но заниматься Сергей Петрович бросил, и половину суток комната стояла пустая и темная.

Ходил он очень много, без усталости, и длинную его фигуру в выцветшем картузе можно было встретить на всех улицах Москвы. В один морозный, но солнечный день он пробрался

даже на Воробьевы горы и оттуда долго смотрел на Москву, окутанную розовым туманом и дымом, и сверкающую пелену реки и огородов. На ходу легче было думать, да и то, что он видел, облегчало работу мысли, как рисунок к тексту облегчает его понимание для слабых умов. Подобно хозяину, который сознал свое разорение и в последний раз обходит свое имение, подводя печальные итоги, подводил свои итоги и Сергей Петрович, и они были так же печальны. Все виденное говорило ему, что и для него возможно было бы относительное счастье, но что в то же время он никогда не получит его, никогда.

Только одно могло дать счастье Сергею Петровичу; обладание тем, что он любил в жизни, и избавление от того, что он ненавидел. Он не верил Гартману, который всегда был сыт и утверждал, что обладание желаемым только разочаровывает, – и думал, как Новиков, что философия пессимизма создана для утешения и обмана людей, которые лишены всего, что имеют другие. И он был уверен, что сумеет стать счастливым, если ему дадут деньги, эту странствующую по миру свободу, которую рабы чеканят для господ.

Сергей Петрович был трудолюбив, но не любил труда и страдал под его тяжестью, так как никогда его труд не был таким, чтобы давать наслаждение. В гимназии его трудом было учение вещей, которые были неинтересны и чужды ему, а иногда шли против его рассудка и совести, и тогда труд становился мучительным. В университете труд был легче, спокойнее и разумнее, но также не давал наслаждения холодному уму, а уроки, которые случалось иметь Сергею Петровичу, представляли обратную сторону гимназических и были так же мучительны. И будущий его труд как акцизного чиновника сулил ту же безрадостность и покорную скуку. Только летом, у себя в Смоленске, Сергей Петрович отдыхал за простую и грубую работою: столярничал, делал для маленьких братьев деревянные ружья и стрелы, чинил в саду заборы и скамейки и копал гряды, выворачивая блестящим скребком ноздреватую глянцевитую землю. И это было весело и радостно, но не было тем трудом, к которому предназначило его рождение от отца-чиновника и образование. Другие люди, страдающие от несоответствия между способностями и трудом, иногда ломают рамки и идут, куда хотят, – в рабочие, в пахари, в бродяги. Но то люди сильные и смелые, каких немного на земле, а Сергей Петрович чувствовал себя слабым, робким и управляемым чьею-то чужою волей, как паровоз, которого только катастрофа может свести с рельсов, проложенных неизвестными руками. И не только сделать, но даже и вообразить он не мог, как это он бросит приличный костюм, квартиру, лекции и станет оборванный шататься по дорогам или идти за сохой. И первое, что могло бы приблизить его к счастью, – это свобода от чуждого и неприятного труда. И он имел право на свободу, так как видел людей, как и он, рожденных от женщины, как и он, имеющих нервы и мозг, которые не трудились совсем и отдавались только тем занятиям, которые радуют их.

«А что имеют другие, на то имею право и я», – думал Сергей Петрович в этот период возмущения против природы и людей.

И для него нашлись бы такие занятия, которые радуют. Главным из них было бы познание природы. Не проникновение в ее глубочайшие тайны, – оно требовало ума, – а непосредственное познание ее глазами, обонянием, всеми чувствами. Он любил живую природу нежною и даже страстною, но глубоко скрытою любовью, о которой подозревал один Новиков. Какой-нибудь росточек травы весною, белый ствол березы, выходящий из мягкой пахучей земли, черные, тоненькие сучки, прилипшие к ее мягкой груди, приковывали его глаза и радовали сердце. Он не понимал, за что он так любит эту черную землю, давшую ему столько горя, но когда весною он видел первый кусок ее, освободившийся от холодного и мертвого снега и словно вздыхающий под солнцем, – ему хотелось поцеловать его долгим и нежным поцелуем, каким целуют любимую женщину. И, обреченный всю жизнь проводить в узкой четырехугольной коробке, на пыльных грохочущих улицах, под грязным городским небом, он завидовал бродягам, сон которых охраняют звезды и которые знают и видят так много. А он не видел в своей жизни и не увидит ничего, кроме березы, травки, неглубоких речек да невысоких бугров. Ему прихо-

дилось читать красивые и, вероятно, похожие описания моря и гор, но слабое воображение его не могло создать живых образов. И ему хотелось своими глазами убедиться – правда ли, что море так глубоко и бесконечно, что оно голубое, или зеленое, или даже красное, что по нему ходят высокие валы, а над ним по синему небу бегут белые облака или черные, страшные тучи. И правда ли, что горы так высоки, отвесны и лесисты, и между ними синеют туманные ущелья, а под самым зеленым небом сверкают снежные вершины.

Правда ли?

Глубокий свистящий воздух, шедший из глубины запыленных легких, поднимал грудь Сергея Петровича и сгонял с его плоского лица стыдливо-восхищенную улыбку. И еще более, чем бродягам, завидовал он тем, кто владеет морем и горами.

Однажды, блуждая по городу и различая в толпе тех, кто свободен и властен и кто навсегда лишен свободы, Сергей Петрович увидел вывеску стереоскопической панорамы и зашел туда. Показывались горы, озера и замки Людвига Баварского. Цветные фотографии проходили перед глазами и были так живы и выпуклы, что чувствовался воздух и синяя даль, а вода блестяла, как настоящая, и в ней отражались леса и замки. Белый, празднично-светлый и чистый пароход вздымал носом пенистые борозды, а на палубе стояли и сидели празднично одетые мужчины, женщины и дети, и, казалось, можно было различить радостную улыбку на их лицах. Потом он видел замок, который белел своими башнями и зубчатыми террасами над зеленью лесов, каскадами спадавших в долину, и видел внутренность замка. Величественные залы, бесчисленное множество картин, царственное великолепие бархата и тяжелой парчи, свет, люющийся в высокие готические окна и скользящий по паркетам полов. И на одном окне, спиной к Сергею Петровичу, сидел кто-то, равнодушный и спокойный, и смотрел вниз, туда, где виднелись одни вершины гор и светлое небо. Сергей Петрович долго всматривался в неподвижную фигуру сидящего и как будто видел все, что видел тот: леса, долины и синюю сталь озер, и чувствовал, какой должен быть чистый и свежий воздух, которым дышит тот. И ему казалось, что среди величавых зал, уходящих, как небо, потолков, с окнами, из которых видно полмира, не может быть тоски и печальных размышлений. И самое главное и наиболее удивительное видел он: он видел человека, смешно подвернувшего под себя ногу и выставившего подошву сапога так же, как Сергей Петрович подвернул бы ее под себя на его месте, и человек этот дышал горным воздухом и мог ходить по величавым залам. С внезапным порывом гневной тоски Сергей Петрович скрипнул зубами и сунулся вперед, точно желая сбросить в пропасть неподвижно сидящего человека, и больно стукнулся бровями и носом о рамки стекол. И ему стало стыдно при мысли, что гнев его напускной и рассчитанный именно на существование рамок, а что, если бы человека этого он видел в действительности, он не осмелился бы коснуться его пальцем. Робкий и смиренный, содрогавшийся от вида зарезанной курицы, не был способен он и на гнев.

Когда Сергей Петрович вышел из помещения панорамы на кривой и горбатый московский переулок, с которого дворники счищали снег, а извозчики месили его полозьями, он подумал, что нет таких фактов, с которыми должен мириться человек.

За природою следовала музыка, искусство во всех его видах, какие доступны были пониманию Сергея Петровича и могли наполнить его жизнь и сделать ее интересною и разнообразною. За ними шла женская любовь, которой жаждало его сердце. В концертах, в театрах и на улице он видел породисто-красивых женщин, полных изящества и благородства, и хотел их любви. Одну из них он запомнил, встречая ее несколько раз, и мечтал о ней, а она ни разу не подняла на него своих глаз и не знала об его существовании. Ему было противно воспоминание о любви девушки, которая полола гряды и от которой пахло навозом и потом, и противна мысль о других таких же грубых женщинах, которые будут любить его и говорить с ним о рублях и ненавистном труде. Ему до боли хотелось любви этой женщины, имени которой он не знал и которая не понимает всего того, что мучит его и ему подобных. И как человек, никогда

не имевший денег, он думал, что они могут дать ему любовь, и как человек, не знавший женской любви, думал, что она может дать ему счастье.

В это именно время Сергей Петрович поехал к женщинам, где встретили его товарищи, и намеренно не стал пить, чтобы яснее сознать то, что приходится в этом мире на долю его и ему подобных.

Чем больше вглядывался Сергей Петрович в жизнь, тем бессильнее и ничтожнее становилась в его глазах природа, безумно рассыпающая свои дары. И на место униженной природы перед его тусклыми глазами стала другая грозная и могучая сила – деньги. Ослепленный, потерявшийся, он стал думать, что они властвуют и над природой. И слабый мозг его поддавался обману, и в сердце зажглась надежда. Он вынимал из кармана серебряный рубль и вертел его в руках с чувством странного любопытства и недоумения, точно впервые видел этот блестящий кружок. Они не с неба валяются, эти кружки, и он приобрел его и может еще приобрести много, и тогда в его руках будет могучая сила, властвующая над природой. И, как всякий человек, у которого мелькнула надежда, он стал думать не о возможности ее осуществления, а о том, что будет делать он, когда надежда осуществится. И эти несколько дней были отдыхом для Сергея Петровича, и он поднялся вверх, чтобы сильнее потом расшибиться о землю и уже не встать. Он взял данным то, что у него уже есть миллион, и мечтал о море, о горах и о женщине, имени которой он не знал и которая не подозревала об его существовании.

Но невозможно было остановить мысль, когда она начала работать и когда ее гнал такой жгучий кнут, как видение сверхчеловека, того, кто полноправно владеет силою, счастьем и свободой. И, когда оно мелькнуло перед утомленными глазами Сергея Петровича, он удивился, что, как и прежде, он отдается неосуществимым и детским мечтам. Было много путей к деньгам, но перед каждым стояла рогатка и не пускала Сергея Петровича. Он не мог украсть, как не мог и убить, так как не мозг, а чужая, неведомая воля управляла его поступками. Тот труд, который был доступен ему, не мог дать богатства, а все другое – игра на бирже, фабрика, служба с крупными окладами, искусство, женитьба на богатой, все то, что дозволяется законом и совестью и дает состояние в один день или в год, – так же не существовало для него, как и ум. И когда Сергей Петрович понял, что деньги не исправляют несправедливостей природы, а углубляют их и что люди всегда добивают того, кто уже ранен природой, – отчаяние погасило надежду, и мрак охватил душу. Жизнь показалась ему узкою клеткою, и часты и толсты были ее железные прутья, и только один незапертый выход имела она.

И тогда новый период начался в жизни Сергея Петровича. Он никуда не выходил из дому и бывал только в столовой, являясь туда почти к самому ее закрытию, чтобы не встретить кого-нибудь из знакомых студентов. День и ночь он лежал на постели или ходил, и соседи и хозяйка уже успели привыкнуть к однообразному звуку шагов, какой иногда слышится из тюремных камер: раз-два-три вперед и раз-два-три назад. На столе лежала книга, и, хотя она была закрыта и запылена, изнутри ее гремел спокойный, твердый и беспощадный голос:

«Если жизнь не удастся тебе, если ядовитый червь пожирает твое сердце, знай, что удастся смерть».

V

Раз нельзя победить – нужно умереть. И Сергей Петрович решил умереть и думал, что смерть его будет победою.

Мысль о смерти не была новою: она приходила к нему и раньше, как приходит и ко всякому человеку, у которого на пути много камней, но была так же бесплодна и бездеятельна, как и мечты о миллионе. Теперь же она явилась у Сергея Петровича, как решение, и смерть стала не желаемым, чего может и не быть, а неизбежным, таким, что произойдет непременно. Из клетки открывался выход, и, хотя он вел в неизвестность и мрак, это было безразлично для

Сергея Петровича. Он смутно верил в новую жизнь и не страшился ее, так как только свободное я, которое не зависит ни от слабого мозга, ни от вялого сердца, унесет он с собою, а тело достанется в добычу земле, и пусть она творит из него новые мозг и сердце. И когда он ощутил в себе спокойную готовность умереть – впервые за всю свою жизнь он испытал глубокую и горделивую радость, радость раба, ломающего оковы.

– Я не трус, – сказал Сергей Петрович, и это была первая похвала, которую он от себя услышал и с гордостью принял.

Казалось бы, что мысль о смерти должна была уничтожить все заботы о жизни и о теле, уже более ни на что не нужном. Но с Сергеем Петровичем случилось обратное, и в последние дни своей жизни он снова стал тем педантично аккуратным и чистоплотным человеком, каким был раньше. Его удивило, как мог он столько времени оставлять в беспорядке свою комнату и стол, и прибрал его, разложил книги в том порядке, в каком они лежали всегда. Наверху он положил начатое для зачета сочинение – впоследствии оно перешло к Новикову, а особо «Так сказал Заратустра». Он даже не раскрыл Ницше и был совершенно равнодушен к книге, которую, по-видимому, не дочитал, так как карандашные отметки на полях идут только до половины третьей части. Быть может, он боялся, что найдет там что-нибудь новое и неожиданное, и оно разрушит всю его мучительную и долгую работу, оставившую впечатление яркого и страшного сна.

Потом Сергей Петрович ходил в Центральные бани, с наслаждением плавал в холодном бассейне и, встретив на улице товарища-студента, зашел с ним в портерную «к немцу», где выпил бутылку пива. Дома, порозовевший, чистый, в белой полотняной рубашке, он долго сидел за чаем с малиновым вареньем, потом попросил у хозяйки иголку и стал чинить свою форменную тужурку. Она была уже старая и узкая и постоянно рвалась под мышками, и Сергею Петровичу уже не раз приходилось чинить ее. Его толстые и неловкие пальцы с трудом ловили маленькую иголку, терявшуюся в гнилом сером сукне. Несколько дней Сергей Петрович посвятил на приготовление цианистого кали и, когда яд был готов, с удовольствием посмотрел на маленький пузырек, думая не о смерти, которая заключается в нем, а об успешно выполненной работе. Хозяйка, маленькая, черненькая женщина, бывшая содержанка, по-видимому, что-нибудь подозревала, потому что очень обрадовалась, когда Сергей Петрович обнаружил признаки возвращения к обычной трудовой жизни. Она пришла в его комнату и долго болтала на ту тему, как скверно действует на молодых людей одиночество, и рассказала об одном своем знакомом, который был околоточным надзирателем и имел доходы, но от мрачного своего характера стал пить водку и попал на Хитровку, где теперь пишет за рюмку водки прошения и письма. Эту историю об околоточном надзирателе она рассказывала впоследствии всем приходившим студентам и добавляла, что уже тогда она заметила сходство в судьбе знакомого и Сергея Петровича.

– Заходите ко мне чайку попить, – приглашала она Сергея Петровича, без всякой, однако, задней мысли. – Да к товарищам бы прошлись, а то что это: ни к вам кто-нибудь, ни вы никуда.

Сергей Петрович последовал ее совету и обошел почти всех своих товарищей, но нигде подолгу не оставался.

Впоследствии студенты уверяли, что начавшееся безумие Сергея Петровича уже ясно обнаруживалось, и удивлялись, как они тогда же не заметили его. Обычно молчаливый и застенчивый даже со своими, Сергей Петрович на этот раз болтал о всяких пустяках, а о Новикове вспоминал и говорил, как равный, и даже упрекнул его в поверхностности. При этом Сергей Петрович был весел и часто смеялся. Один молоденький студент передавал, что Сергей Петрович даже пел, но в этом уже все заметили преувеличение. Но все единогласно находили, что странность какая-то в Сергее Петровиче, несомненно, существовала, и не заметили ее тогда же только потому, что вообще на Сергея Петровича внимания обращали мало. И по поводу этого недостатка внимания некоторые, особенно резко осуждавшие равнодушные и эго-

истичность товарищей, возбудили интересный вопрос: возможно ли было спасение для Сергея Петровича в этот решительный момент его жизни? И находили, что спасение было вполне возможно, но не воздействием на него другого – сильного – ума, а влиянием близкого человека, матери или женщины, которая любила бы его. Полагали, что все эти дни Сергей Петрович находился в состоянии умственной тупости, схожей с гипнотическим сном, когда над волею безраздельно господствует своя или чужая идея. Ее нельзя было ослабить рассуждениями, но Сергея Петровича могла разбудить любовь. Крик матери, идущий от ее сердца, вид лица, которое так дорого и мило и на котором с детства знакома каждая морщинка, ее слезы, которые невыносимо видеть даже огрубевшему человеку, – все это могло бы призвать Сергея Петровича к сознанию действительности. Человек добрый и честный, он не осмелился бы внести смерть в материнское сердце и остался бы жить, если не для себя, то для других, любящих его. Многих малодушных, уже решавшихся на самоубийство, удерживало на земле сознание, что они нужны для любящих их, и они долго еще жили, укрепляясь в мысли, что более храбрости требуется для жизни, нежели для смерти. А еще более бывало таких, которые забывали причины, побудившие их на самоубийство, и даже жалели, что жизнь так коротка.

И с новым ожесточением одни из товарищей нападали на других и резко упрекали их в возмутительном равнодушии. Какая-нибудь телеграмма в десяток слов, отправленная к матери Сергея Петровича, могла бы сохранить человеческую жизнь. Некоторых из студентов, всегда выдвигавших вперед общественную точку зрения, настоящий случай навел на размышления и разговоры о разъединенности студенчества, отсутствии общих интересов и умственном одиночестве. Возникло на короткое время несколько кружков саморазвития, где читались книги по общественным вопросам и писались рефераты.

Убить себя Сергей Петрович решил в пятницу, 11 декабря, когда многие из товарищей уже собирались уезжать на рождественские каникулы. В этот день, утром, он был в почтовом отделении, где сдал в отделе заказной корреспонденции тяжелое письмо, адресованное в Смоленск Новикову, и полученную квитанцию спрятал в бумажник. В письме он сообщал о своей смерти и причинах ее, причем последние излагал по рубрикам, и все письмо производило такое впечатление, как будто он писал не о себе, а о другом каком-то, мало для него интересном человеке. Днем Сергей Петрович пообедал в комитетской столовой, причем за обедом сидел очень долго и разговаривал со знакомыми, а после обеда спал также очень долго и крепко, так что встал только в одиннадцатом часу. Ему подали самовар, и студенты за стеною снова услышали однообразный звук шагов: раз-два-три вперед и раз-два-три назад. Когда уже поздно ночью заспанная горничная убирала самовар и посуду, Сергей Петрович говорил с нею, точно желая, чтобы она подольше не уходила, и был при этом, по ее словам, очень бледен.

...Сергей Петрович никак не ожидал того, что произойдет с ним в этот вечер, который он считал последним в своей жизни. Он был совершенно спокоен и весел и не думал о смерти, как и все эти дни. Думать о ней он начал только за час или за два до того момента, как принять яд. И мысли приходили откуда-то издалека, отрывочные и глухие. Сперва он подумал о хозяйке и далее о том, как он будет лежать и какой будет иметь вид. На минуту мысль его скакнула в сторону, к воспоминаниям детства, именно к смерти его дяди. Он умер у них в доме, и Сергея Петровича, тогда еще семилетнего Сережу, увезли к знакомым. Проходя передней, уже одетый, он заглянул в залу и увидел там стол, за которым они всегда обедали, а на столе обращенные к нему неподвижные ступни ног в белых нитяных носках. Видел он их одну секунду, но запомнил на всю жизнь, и сама смерть долго представлялась ему не иначе, как в виде неподвижных ступней ног в белых нитяных носках. Потом он вспомнил сравнительно недавний случай, когда он видел одни очень бедные и очень странные похороны. Станным в них было то, что никто решительно на всей улице, ни прохожие, ни извозчики, не обращали на них внимания и даже как будто совсем не видели их, так как никто не снял шапки. Четыре носильщика несли на носилках гроб, прикрытый чем-то темным, и шагали в ногу и так быстро,

что гроб раскачивался, словно на волнах, и край покрывала отдувался при опускании. И не было видно ни духовенства, ни провожатых.

Когда от этих воспоминаний мысль вернулась к Сергею Петровичу, она стала удивительно острой, точной и светлой, как нож, который отточили. Еще минуту она в нерешимости колебалась, отмечая окружавшую тишину, погасший самовар, тиканье карманных часов на столе, и внезапно, точно найдя, что ей нужно, вылепила картину похорон Сергея Петровича – такую правдивую, яркую и страшную, что он вздрогнул и руки его похолодели. С той же неумолимой, ужасающей правдивостью она один за другим набрасывала последующие моменты: черную, кривую пасть могилы, твердый и тесный гроб, позеленевшие пуговицы мундира и процесс разложения трупа. И похоже было, что это не Сергей Петрович думает, а чья-то гигантская рука быстро проволочивает перед ним самую жизнь и смерть в их непередаваемых красках.

И Сергей Петрович проснулся. Ему было так страшно, что хотелось кричать, и он с ужасом смотрел на маленький пузырек и пятился от него, точно боясь, что ему насильно вольют в рот смертельную отраву. И больше всего в мире боялся он сейчас самого себя – того ужасного неповиновения, которое оказывали ему ноги и руки. Он пятился назад, а все тело его содрогалось от порывов вперед, к пузырьку. Ноги, руки, рот в самых, казалось, костях и венах своих наполнялись страстным, безумно-повелительным желанием броситься вперед, схватить пузырек и выпить его с наслаждением, с жадностью.

– Не хочу, не хочу! – шептал Сергей Петрович, и отгалкивался руками, и пятился назад, но ему казалось, что он приближается к пузырьку, который растет в его глазах. И когда дверь остановила его, он перестал видеть перед собою, вскрикнул и сделал шаг вперед.

В эту минуту вошла горничная за самоваром и долго собирала посуду, которую она плохо различала сонными глазами.

– Когда вас будить? – спросила она, уходя.

Сергей Петрович остановил ее и заговорил, но не слышал ни своих вопросов, ни ее ответов. Но, когда он опять оказался один, в мозгу его осталась эта фраза: «Когда вас завтра будить?» – и звучала долго, настойчиво, пока Сергей Петрович не понял ее значения.

Он понял, что, как и все, он может раздеться и лечь спать, и его разбудят завтра, когда настанет новый день, и Сергей Петрович будет жить, как и все, потому что он не хочет умирать и не умрет, и никто не может принудить его взять пузырек и выпить. Все еще дрожа, он взял пузырек, нарочно открыл его, ощутил запах горького миндаля и тихонько, слегка вздрагивающей рукой поставил на полку, где его не было видно за книгами. Теперь, когда пузырек побыл в его руках и он не умер, он уже не боялся ни его, ни себя.

Когда Сергей Петрович лег в постель, ему казалось, что спасенная жизнь радуется во всех малейших частицах его тела, пригретого одеялом. Он вытягивал ноги, руки, чуть не совершившие преступления, и в них чудилось что-то сладко-поющее тоненьким веселым голоском, как будто кровь радовалась и пела, что не стала она осклизлой гниющей массой, а струится, веселая и красная, по широким и свободным путям. И такая же веселая, она переполняла сердце, и оно пело вместе с нею и торжественно отбивало свой гимн жизни.

«Жить! Жить!» – думал Сергей Петрович, сгибая и разгибая послушные, гибкие пальцы. Пусть он будет несчастным, гонимым, обездоленным; пусть все презирают его и смеются над ним; пусть он будет последним из людей, ничтожеством, грязью, которую стряхивают с ног, – но он будет жить, жить! Он увидит солнце, он будет дышать, он будет сгибать и разгибать пальцы, он будет жить... жить! И это – такое счастье, такая радость, и никто не отнимет ее, и она будет продолжаться долго, долго... всегда! Бесконечное множество дней впереди зажигает свою зарю, и в каждой из них он будет жить, жить! И тут впервые за много дней Сергей Петрович вспомнил отца и мать – и ужаснулся и умилился. Он мысленно целовал морщины, по которым должны были скатиться слезы, и сердце его разрывалось от ликующего победного

крика: я живу, живу! И, когда он заснул легким, радостным сном, последним ощущением был соленый вкус слезы, омочившей губы.

День был морозный, и солнце светило, когда Сергей Петрович проснулся. Он долго не понимал, почему постель сделана, как всегда, и он лежит в ней живой, тогда как вчера он должен был умереть. Голова немного болела, и все тело ныло, как после сильных побоев. Постепенно, мысль за мыслью, он вспомнил все, что прошло вчера в его голове, и не понял, почему он так сильно испугался и что было страшного во всем том, что он знал всегда и десятки раз представлял себе. Смерть, похороны, могила... Ну, а как же может иначе быть, если человек умирает? Конечно, его хоронят и для этого выкапывают могилу, и в могиле труп разлагается. И еще раз он внимательно и недоверчиво взгляделся во вчерашние страшные представления, но они были совсем бледные и тусклые и все более бледнели, как это бывает с видениями сна, которые так ярки в первую минуту пробуждения и так скоро и бесследно стираются живыми впечатлениями действительности и дня. И в картинах смерти не было ничего страшного, и радость жизни представлялась непонятною и дикою.

И, как разгадка всего, мелькнула мысль, что он, Сергей Петрович, – трус и бахвал.

Он вспомнил про посланное к Новикову письмо, в котором он сообщает о своей смерти, как о совершившемся факте, – и покраснел от стыда, почувствовал, что решение умереть стоит в нем такое же неизменное, спокойное и неотвратимое, как и вчера, когда он еще не поддавался приступу малодушного и непонятного страха. Страх исчез, но жгучий стыд медлил уходить, – и всеми силами измученной души Сергей Петрович возмутился против исчезнувшего страха, этого позорнейшего звена на длинной и тяжелой цепи раба. Равнодушная, слепая сила, вызвавшая Сергея Петровича из темных недр небытия, сделала последнюю попытку заковать его в колодки как трусливого беглеца-неудачника, и хоть на несколько часов, но это удалось ей.

С новою силою вспыхнул жгучий стыд, и пламя его испепелило самую память о минутном приступе страха. И, когда потухло его зарево, исчезла и тупая, ноющая боль тела, и все оно стало легким, почти неощутимым. Перестала болеть и голова, и мозг заработал с безумной быстротой и такою силой и ясностью, как это случается только при горячке. Губы содрогались от желания говорить, и на язык приходили слова, каких никогда не употреблял Сергей Петрович и не знал. И он говорил, что, если он останется жить теперь, он возненавидит себя, и ему придется выпить такую полную чашу самопрезрения, перед которой яд кажется нектаром. Его «я», то независимое и благородное «я», которое на миг почувствовало себя победителем и испытало безмерную радость торжества смелого духа над слепой и деспотической материей, убьет его, если не убьет яд. И Сергею Петровичу казалось, что он чувствует в себе мощный рост этого «я», чувствует, как поднимается он ввысь, и громовые раскаты его голоса заглушают жалкий писк тела, сильного только ночью. Пусть сгибаются те, кто хочет, а он ломает свою железную клетку. И, жалкий, тупой и несчастный человек, в эту минуту он поднимается выше гениев, королей и гор, выше всего, что существует высокого на земле, потому что в нем побеждает самое чистое и прекрасное в мире – смелое, свободное и бессмертное человеческое я! Его не могут победить темные силы природы, оно господствует над жизнью и смертью – смелое, свободное и бессмертное я!

То, что испытывал Сергей Петрович, было похоже на горделивый и беспорядочный бред мании величия, как думали некоторые, читавшие третье письмо его к Новикову, выдержки из которого мы привели. Писал он его, не одеваясь, на клочке бумаги, оказавшемся счетом от прачки, попало оно к Новикову после долгих мытарств, побывав в полиции и у мирового судьи. Тут же, не отходя от стола, он выпил и яд, и, когда пришла горничная с самоваром, Сергей Петрович был уже без сознания. Раствор яда оказался приготовленным неумелыми руками и слабым, и Сергея Петровича поспели отвезти в Екатерининскую больницу, где он скончался только к вечеру.

Телеграмма к матери Сергея Петровича запоздала, и она приехала уже после похорон. Студенты, вызвавшие ее, находили, что это к лучшему, так как в гробу, с вскрытым и опорожненным черепом и пятнами на лице, Сергей Петрович был очень нехорош и даже страшен и мог произвести тяжелое впечатление. И все, что она нашла от своего сына, заключалось в книгах и подержанном платье, среди которого была и заношенная тужурка, разорванная под мышками и свежечиненная.

В темную даль

13

I

Уже четыре недели жил он в доме – и четыре недели в доме царили страх и беспокойство. Все старались говорить и поступать так, как они всегда поступали и говорили, и не замечали того, что речи их звучат глуше, что глаза их смотрят виновато и тревожно и часто оборачиваются в ту сторону, где находится отведенная ему комната. В противоположном от нее конце дома они ступали ногами неестественно-громко и так же неестественно-громко смеялись, но, когда им случалось проходить мимо белых дверей, которые весь день были заперты изнутри и так глухи, точно за ними не было ничего живого, они умеряли шаг, а все тело их подавалось в сторону, словно в ожидании удара. И хотя проходившие становились на пол всей ногой, но шаг их был более легкий и более беззвучен, чем если бы они шли на цыпочках. И никто не называл его по имени, а просто словом «он», и так как все каждую минуту думали о нем, то это неопределенное название представлялось более ясным, чем полное имя, и никогда не заставляло переспрашивать. Почему-то казалось непочтительным и фамильярным звать его, как зовут других; слово же «он» точно и резко выражало страх, который внушала его высокая, сумрачная фигура. И только одна старая бабушка, которая жила наверху, звала его Колей, но и она испытывала напряженное состояние страха и ожидания беды, охватившее весь дом, и часто плакала. Однажды она спросила горничную Катю, почему барышня не играет сегодня на фортепьяно, но Катя удивленно взглянула на нее и не ответила, а, уходя, покачала головой, точно не одобряла самого вопроса.

Пришел он в серый ноябрьский полдень, когда все были дома и сидели за чаем, кроме Пети, давно уже ушедшего в гимназию. На дворе было холодно, и низко нависшие плотные тучи сеяли дождь, так что, несмотря на большие окна, в высоких комнатах было темно, а в некоторых горел даже огонь. Звонок его был резкий и властный, и сам Александр Антонович вздрогнул; он подумал, что явился кто-нибудь из важных посетителей, и медленно пошел навстречу, сделав на своем полном и серьезном лице приветливо-ласковую улыбку. Но она тотчас исчезла, когда в полутьме прихожей он увидел бедно и грязно одетого человека, перед которым в смущении стояла горничная, робко загораживая ему путь. Вероятно, с вокзала он шел пешком и только местами ехал на конке, потому что коротенькое потертое пальто его было мокро, а брюки внизу забрызганы и стояли коробом от воды и грязи. И голос его был хриплый, грубый, не то от сырости и простуды, не то от долгого молчания в тряском вагоне.

– Чего молчите? Дома, спрашиваю вас, Александр Антоныч Барсуков? – повторил вошедший свой вопрос.

Но отозвался Александр Антонович. Не входя в переднюю, он вполоборота взглянул на человека, которого счел за одного из бесчисленных просителей, и строго сказал:

– Вам что здесь нужно?

– Не узнал, отец? – насмешливо, но с дрожью в голосе спросил вошедший. – А ведь я Николай, по отчеству Александрыч.

– Какой... Николай? – отступил на шаг Александр Антонович.

Но, спрашивая, он уже знал, какой Николай стоит перед ним. Важность исчезла с его лица, и оно стало бледно страшной старческой бледностью, похожей на смерть, и руки подня-

¹³ Впервые – в газете «Курьер», 1900, 25 декабря, № 357. Отдельным изданием выпущен в Ростове-на-Дону издательством «Донская речь» (1904) и в «Дешевой библиотеке т-ва «Знание», № 60 (СПб., 1906).

лись к груди, откуда внезапно вышел весь воздух. Следующим порывистым движением обе руки обняли Николая, и седая холеная борода прикоснулась к черной мокрой бородке, и старческие, отвыкшие целовать губы искали молодых свежих губ и с ненасытной жадностью впились в них.

– погоди, отец, дай раздеться, – мягко говорил Николай.

– Простил? Простил? – дрожал всем телом Александр Антонович.

– Ну, что за глупости! – сурово и строго сказал Николай, отстраняя отца. – Какое еще там прощение?

Когда они входили в столовую, Александру Антоновичу было стыдно своего порыва, которому с такой неудержимой силой отдалось его доброе сердце. Но радость от свидания, хотя и отравленная, бурлила в груди и искала выхода, и вид сына, который пропадал неведомо где в течение целых семи лет, делала его походку быстрой и молодой и движения порывистыми и несолидными. И он искренне рассмеялся, когда Николай остановился перед сестрой и, потирая озябшие руки, спросил:

– А эта барышня – сестрица, что ли?

Ниночка, семнадцатилетняя девушка, бледненькая и худенькая, стояла у своего места и смущенно перебирала по столу пальцами, устремив на брата большие испуганные глаза. Она догадалась, что это Николай, которого она помнила больше, чем сам отец, и теперь не знала, что делать. И когда Николай, вместо поцелуя, пожал ей руку, она ответила крепким пожатием и чуть, по-институтски, не присела.

– А это господин студент Андрей Егорыч – Петькин репетитор, – знакомил Александр Антонович.

– Петька? – удивился Николай. – Да он уже учится! Важно!

Потом его познакомили с остролицей дамой, которая наливала чай и которую называли просто Анной Ивановной, и потом все стали жадно рассматривать его, пока он в свою очередь оглядывал комнату, желая узнать, все ли так, как было семь лет тому назад. Было в нем что-то странное, не поддающееся определению. Высоким ростом, гордым поворотом головы, пронзительным взглядом черных глаз из-под крутых, выпуклых бровей, он напоминал молодого орла. Дикостью и свободой веяло от его прихотливо разметавшихся волос; трепетной грацией хищника, выпускающего когти, дышали все его движения, уверенные, легкие, бесшумные; и руки без колебаний находили и брали то, что им нужно. словно не сознавая неловкости своего положения, он смотрел в глаза каждому глубоко и спокойно, но даже и в ту минуту, когда взгляд был ласков, в нем чудилось что-то затаенное и опасное, что видится всегда в глазах ласкающегося хищника. И говорил он повелительно и просто, видимо, не обдумывая своих слов, точно это были не ошибающиеся, невольно лгущие звуки человеческой речи, а непосредственно звучала сама мысль. Чувство раскаяния не могло иметь места в душе такого человека.

Но если это был орел, то перья его были сильно помяты в схватке, из которой он едва ли ушел победителем. Об этом говорило платье, носившее на себе следы ночевки, грязное, непригнанное к телу; и было в этом платье что-то неуловимо-хищное, тревожное, заставляющее всех хорошо одетых людей испытывать смутное чувство опасения. И минутами по всему статному и сильному телу пробегала мгновенная дрожь странной боязни; тогда все тело как будто становилось меньше, и казалось, что волосы на затылке поднимаются как у ошетилившегося зверя; и глаза быстро и злобно обегали всех присутствующих. Пил и ел он с жадностью, как человек, которому долго пришлось голодать или который все время недоедает и поэтому готов бывает есть каждую минуту и все, что подано на стол. И, кончив, он сказал: «Важно!» – и погладил себя немного насмешливо по животу. Отказавшись от отцовской сигары, он взял у студента папиросу (у самого у него папирос не было) и приказал: «Рассказывайте!»

Рассказывать стала Ниночка, именно о том, как она окончила институт и как ей жилось там. Сперва она робела, но так как рассказывать ей приходилось то, что она уже несколько

раз передавала, то она легко вспомнила все остроумные слова и была очень довольна собой. Николай не то слушал, не то нет; он улыбался, но не всегда в тех местах, где были остроумные слова, и все время водил по комнате своими выпуклыми глазами. Иногда он перебивал речь не идущими к месту вопросами.

– Что отдал за картину? – спросил он у молчавшего и также несколько насмешливо улыбавшегося отца.

– Не помню.

– Две тысячи, – с почтением к деньгам отозвалась до сих пор молчавшая Анна Ивановна и боязливо взглянула на Александра Антоновича.

И оба улыбнулись – отец и Николай, и в улыбке проскользнуло что-то враждебное. Теперь Александр Антонович уже не суетился и оттого стал строгим и важным.

– Дела как? – так же коротко спросил Николай у отца.

– Ничего. Идут.

– Новый дом купили. На Итальянской. Трехэтажный. И завод еще купили, – почти шепотом сказала Анна Ивановна.

Она боялась Александра Антоновича, но не могла удержаться, так как всегда была занята тем, что сравнивала свой капиталец в пятьсот пятьдесят шесть рублей, находившийся в сберегательной кассе, с капиталом Барсукова, у которого были дома, заводы и акции.

– Ну, Ниночка, продолжай, – сказал Николай.

Но Ниночке давно уже стало скучно. У нее опять закололо в боку, и она сидела худенькая, бледная, почти прозрачная, но странно красивая и трогательная, как начавший увядать цветок. И пахло от нее какими-то странными, легкими духами, напоминавшими желтеющую осень и красивое умирание. Застенчивый рябой студент внимательно наблюдал за ней и тоже, казалось, бледнел по мере того, как исчезала краска с лица Ниночки. Он был медик и, кроме того, любил Ниночку первой любовью.

Но тут явился Феноген Иваныч, старый лакей. Рожа его выглянула из двери, как восходящая луна, и была так же широка, красна и безволоса. Он был в бане, после бани немного выпил и, придя домой, узнал от горничной о приезде барчука, с которым во дни оны играл в лошадки. Немного плача, то ли от водки, то ли от любви, он напялил фрак, надушил лысину, как это делал барин, и степенно пошел в столовую. За дверьми он немного постоял и с торжественно надутыми щеками, как при приезде самого губернатора, явился к Николаю.

– Феногешка! – весело крикнул Николай, и голос его прозвучал, как у ребенка.

– Барчук! – взвизгнул Феноген и, опрокидывая стулья, кинулся к Николаю.

Он хотел сперва поцеловать его в плечо, но так как Николай вместо того пожал ему руку, то Феноген важно откинулся назад и ответил крепким, до боли, пожатием. Он позволял себе думать, что он не слуга, а друг Николая, и рад был публичному признанию его в этом достоинстве. Но поцеловаться все же нужно было.

– И вдобавок пьян! – с веселым изумлением к постоянству Феногеновых привычек сказал Николай, ощутив запах водки.

– Разве? – строго отозвался Александр Антонович.

Мотая отрицательно головой, Феноген Иваныч благовоспитанно отступал задом и косил глаза, чтобы узнать, где дверь, но все-таки сперва попал в простенок и оттуда уже, на ощупь, добрался до двери. Все это заняло довольно много времени. В передней Феноген Иваныч приостановился, с нежностью осмотрел руку, которую пожал Николай, и, неся ее впереди себя, как нечто совершенно ему постороннее, хрупкое и ценное, тронулся в людскую. Вообще он уважал себя, но в данный момент самой уважаемой частью его тела была правая рука.

В этот день Александр Антонович не поехал в правление и после обеда, за которым он выпил много вина, пришел в светлое и мягкое настроение. Обняв Николая за талию, он повел его в библиотеку, закурил сигару и, приготовившись к долгому слушанию, добродушно сказал:

– Ну, теперь рассказывай: где был, что делал?

Николай ответил не сразу. По телу его снова пробежала та же странная дрожь испуга, и глаза метнули взор к двери, но голос оставался спокойным и серьезным.

– Нет, отец. Я прошу тебя оставить разговор о моих приключениях.

– Я видел у тебя кошелек заграничной работы. Ты был за границей?

– Был, – коротко ответил Николай. – Но довольно, отец.

Александр Антонович нахмурил брови и встал с дивана. Заложив руки за спину, под сюртук, он прошелся по комнате и, не глядя на сына, спросил:

– Ты все такой же?

– Как видишь. А ты, отец?

– Как видишь. Ступай, мне надо заниматься.

Когда Николай вышел, Александр Антонович запер за ним дверь, оглянулся и, подойдя к камину, молча, но с силой ударил по белому, блестящему кафлю. Потом вытер платком руку, к которой пристала белая полоска извести, и сел заниматься. И опять лицо его белело той страшной бледностью, которая напоминает смерть.

Никто не видел свидания Николая с бабушкой, но вышел он от нее хмурым и как будто немного растроганным. И на минутку все почувствовали облегчение, когда за Николаем захлопнулись белые двери его комнаты, но с того момента он перестал быть гостем, и с этого же момента появилась та странная тревога, которая, разрастаясь, скоро захватила весь дом. Как будто вошел в дом и навсегда занял в нем место кто-то загадочно-опасный, более чужой, чем любой человек с улицы, и более страшный, чем притаившийся грабитель. И только один Феноген Иваныч не почувствовал этого, так как с радости выпил еще и теперь спал на поваровой постели, и во сне сохраняя вид полного самоуважения и немного откидывая правую руку.

А в гостиной Ниночка тихо рассказывала студенту о том, что было семь лет тому назад. Тогда Николай за одну историю был уволен с несколькими товарищами из Технологического института, и только связи отца спасли его от большого наказания. При горячем объяснении с сыном вспыльчивый Александр Антонович ударил его, и в тот же вечер Николай ушел из дому и вернулся только сегодня. И оба – и рассказчица и слушатель – качали головами и понижали голос, и студент для ободрения Ниночки даже взял ее руку в свою и гладил.

II

Николай никому не мешал; сам говорил мало и других слушал не то чтобы неохотно, а с каким-то высокомерным равнодушием, как будто вперед знал, что ему могут рассказать. На середине рассказа он иногда уходил, и все время лицо его имело такое выражение, точно он прислушивается к чему-то далекому, важному и одному ему слышному. Он ни над кем не смеялся и никого не упрекал, но, когда он выходил из библиотеки, где просиживал большую часть дня, и рассеянно блуждал по всему дому, заходя в людскую, и к сестре, и к студенту, он разносил холод по всему своему пути и заставлял людей думать о себе так, точно они сейчас только совершили что-то очень нехорошее и даже преступное и их будут судить и наказывать. Теперь он был одет очень хорошо, но и в изысканном платье он не сливался с пышным великолепием комнат, а стоял особняком, как что-то чужое и враждебное. И если бы все эти дорогие вещи могли чувствовать и говорить, они сказали бы, что умирают от страха, когда он приближается или берет одну из них в руки и рассматривает с странным любопытством. Он никогда ничего не ронял и ставил вещь на место, как раз так, как она стояла, но как будто прикосновение его руки отнимало у изящной статуэтки всю ее ценность, и после его ухода она стояла пустой и ни на что не нужной. Ее душа, созданная искусством, таяла в его руках, и оставался только ненужный кусок бронзы или глины.

Раз Николай пришел к Ниночке во время ее урока рисования, когда она очень похоже и хорошо копировала с чьей-то картины фигуру нищего, просящего милостыню.

– Рисуй, Нина. Я не буду тебе мешать, – сказал он, садясь возле, на низенькой софе.

Ниночка робко улыбнулась и некоторое время продолжала водить кистью, беря не те краски, какие нужно. Потом бросила и сказала:

– Я устала. Тебе нравится?

– Да, хорошо. Ты и играешь хорошо.

От этой холодной похвалы впечатлительной Ниночке стало скучно. Она, критически наклонив голову набок, осмотрела свой рисунок, вздохнула и сказала:

– Бедный нищий. Мне так жаль его. Тебе тоже?

– Да, тоже.

– Я в двух попечительствах о бедных участвую. Ужасно много работы, – горячо сказала она.

– Что же вы там делаете? – равнодушно спросил Николай.

Ниночка начала рассказывать подробно, потом короче, потом остановилась совсем. Николай молчал и перелистывал альбом, в котором знакомые Ниночки записывали стихи.

– Я на курсы хотела, но папа не позволяет, – внезапно сказала Ниночка, словно ища пути к вниманию брата.

– Дело хорошее. Ну и что же?

– Не позволяет папа. Но я добьюсь своего.

Николай ушел, и в груди Ниночки стало пусто и тоскливо. Она отбросила альбом, печально посмотрела на начатую картину, которая ей показалась отвратительной и никому не нужной мазней. Не умея сдерживать своих порывов, Ниночка взяла кисть и крест-накрест перечертила полотно синей краской и отхватила при этом у нищего полголовы. С первого дня, когда Николай пожал ей руку, она полюбила его, а он ни разу не поцеловал ее. Если бы он поцеловал ее, Ниночка открыла бы ему все свое маленькое, но уже изболевшееся сердце, в котором то пели маленькие, веселые птички, то каркали черные вороны, как писала она в своем дневнике. И дневник бы свой она отдала ему, – а в дневнике на каждой странице рассказывается о том, какая она никому не нужная и несчастная.

Он думал, что она довольна и рисованием своим, и музыкой, и попечительством, и ошибается: ей не нужны ни рисование, ни музыка, ни попечительство.

Смеялся Николай только на уроках студента с Петькой, и Петька ненавидел его за смех. В его присутствии он нарочно еще выше задирает колени, так что едва не заваливался со стулом на спину, шурил пренебрежительно глаза, ковырял в носу, хотя прекрасно знал, что этого не нужно делать, и хладнокровно говорил студенту невыносимые дерзости. Рябое лицо репетитора наливалось кровью и потело; он чуть не плакал и по уходе Петьки жаловался, что мальчишка совсем не хочет учиться.

– Не знаю, что из него выйдет, – говорил студент. – Теперь вот тоже горничная жаловалась мне, что он ей гадости говорит.

– Прохвост выйдет, – без видимого огорчения определил Николай будущее брата.

– Бьешься, бьешься, нервы тратишь, а что толку! – чуть не плакал студент, вспоминая длинный ряд унижений и стыда за себя, когда хотелось провалиться сквозь землю или избить ученика.

– Бросьте!

– А жрать-то надо! – в отчаянии воскликнул Алексей Егорович.

– Ну и жрите, что подносят.

Но в споры со студентом, несмотря на старания последнего, Николай не вступал. И Ниночка и Алексей Егорович делали частые попытки решить, что такое представляет собою брат Николай, и доходили до таких фантастических картин, что обоим становилось смешно.

Но, расходясь, они удивлялись своему смеху, и самые фантастические предположения казались истинными, а на другой день оба со страхом и страстным любопытством ждали появления Николая, думая, что именно сегодня и решится томительный вопрос. Но Николай появлялся, а вопрос оставался все таким же далеким от решения.

Особенной яркости и неправдоподобности достигали те предположения, что делались в людской, и впереди всех рассказчиков стоял Феноген Иваныч. Когда он немного выпивал, фантазия его работала неудержимо и создавала такие картины, перед которыми он сам останавливался в недоумении и испуге.

– Он разбойник! – сказал однажды Феноген Иваныч, и красное лицо его побледнело от страха.

– Ну вот, разбойник!.. – не поверил повар, но тоже оглянулся на дверь.

– Который грабит только богатых, – ввел поправку Феноген Иваныч, слышавший когда-то от самого Николая, тогда еще мальчика, о существовании подобных разбойников.

– А зачем ему грабить, когда у отца денег невпроворот? – усомнился кучер, очень основательный человек.

– Три завода, четыре дома, акции каждодневно обрезают, – прошептала Анна Ивановна, у которой находилось теперь в кассе ровно пятьсот шестьдесят рублей, так как четыре рубля она внесла на днях.

Предположение Феногена Иваныча рухнуло. Анна Ивановна обыскала все вещи Николая и ничего не нашла, кроме белья. И именно то, что она ничего не нашла, кроме белья, всего более пугало и тревожило. Если бы в чемодане нашлись ружья, пули и ножи и Николай действительно оказался бы разбойником, это было бы не так страшно, как не знать совершенно занятий человека, который так не похож на других людей лицом и хватками: слушает, а сам не говорит и смотрит на всех, как палач. Тревога росла и переходила в суеверный страх, ледяной волной прокатывавшийся по дому.

Был подслушан один короткий разговор Николая с отцом – и не рассеял страха, но еще более сгустил туманную атмосферу недоумения и загадки.

– Ты сказал когда-то, что ненавидишь всю нашу жизнь, – отдельно выговаривая каждое слово, спрашивал отец. – Ты и теперь ненавидишь ее?

Так же размеренно и медленно звучал серьезный ответ Николая:

– Да, я ненавижу ее от самого дна до самого верху. Ненавижу и не понимаю.

– Ты нашел лучше?

– Да, нашел. Да, нашел, – твердо повторился Николай.

– Остайся с нами.

– Это немисливо, отец. И ты это знаешь.

– Николай! – прозвучал гневный окрик Александра Антоновича.

И через минуту напряженного молчания тихий и немного грустный ответ Николая:

– Ты все тот же, отец. Вспыльчивый и – добрый.

И Рождество в этом богатом доме наступило смутное и безрадостное. Присутствие человека, который ни в чем не разделял мыслей и чувств окружающих его людей, мрачным кошмаром нависало над всеми и отнимало у праздника не только его радостный характер, но и самый смысл. Казалось, что и сам Николай заметил, как тягостен он для других, и почти не выходил из своей комнаты, – но за глазами он казался еще страшнее, чем на глазах. За несколько дней до Рождества у Барсуковых случайно собрались гости; Николай не вышел к ним, как вообще не выходил ни к кому из посторонних, и, одетый, лежал на постели, прислушиваясь к звукам музыки. Смягченные толщей стен, они казались мелодичными и нежными, как далекое пение чистых и безгрешных голосов, и так мягко входили в ухо, словно пел самый воздух. Николай вслушивался и вспоминал то время, когда он был еще маленький, и была жива его мать, и у них собирались гости, а он так же издали прислушивался к музыке и грезил – не образами,

а чем-то другим, в чем и образы и звуки сплетались в одно яркое и мучительно-красивое, и оно извивалось, как разноцветная, поющая лента. И он понимал тогда, что значит это яркое, но не мог никому объяснить, даже себе, и только старался дольше не засыпать – и засыпал. Раз он заснул таким образом, никем не замеченный, в прихожей, на шубах, и теперь ему ясно представился запах пушистого, щекочущего меха. И снова содрогание непонятного ужаса пробежало холодными иглами по его телу, – но и другое что-то, более мягкое и теплое, озарило его лицо, и словно ласкающая нежная рука расправила насупленные брови. Лицо стало неподвижно, но спокойно, кротко и незлобиво, как у мертвого. Нельзя было догадаться, бодрствует он или спит, жив он или мертв, но можно было сказать одно: этот человек отдыхает.

Наступил сочельник, и в сумерки к Николаю явился Феноген Иваныч. Он был почти трезв, мрачен и глядел в сторону, а на глазах замечались следы как будто слез.

– Пожалуйте к бабушке, – сказал он из дверей.

– Что такое? – удивился Николай.

Феноген Иваныч вздохнул и повторил:

– Пожалуйте к бабушке.

Николай пошел наверх – и только что переступил порог, как две тонкие девичьи руки охватили его шею; к лицу приблизилось нежное личико с широко раскрытыми влажными глазами, и голос, задыхающийся от рыданий, зашептал:

– Коля, Коля, как ты нас измучил! Коля, Коля, братик милый, помирись с папой. И со мной. И останься с нами, Коля, Коля!

И маленькое, худенькое тело трепетно билось в его руках, и маленькое, никому не нужное сердечко стало таким огромным, что в него вошел бы весь бесконечно страдающий мир. Николай хмуро, исподлобья метнул взор по сторонам. С постели тянулись к нему страшные в своей бескровной худобе руки бабушки, и голос, в котором уже слышались отзвуки иной жизни, хриплым, рыдающим звуком просил:

– Коля, Коля!..

А на пороге плакал Феноген Иваныч. Он потерял всю свою важность, и хлюпал носом, и двигал ртом и бровями; и слез было так много, они такой рекой текли по его лицу, точно шли не из глаз, как у всех людей, а сочились из всех пор тела.

– Друг мой! Николенька! – шептал он молитвенно, протягивая вперед руки с застывшим в них красным платком.

Николай беспомощно и жалко улыбался, не зная того, что из его орлиных, теперь померкших глаз падают редкие, скупые слезинки. И тогда из темного угла выступила на свет трясущаяся старческой дрожью, бессильная голова того, кто был его отцом и всю жизнь которого он ненавидел и не понимал.

Но теперь он понял.

С тем же безумием любви, каким была проникнута его ненависть, Николай рванулся к отцу, увлекая за собой Ниночку. И все трое, сбившиеся в один живой плачущий комок, обнажившие свои сердца, потрясенные, они на миг стали одним великим существом с единым сердцем и единой душой.

– Остался! – хриплым торжествующим звуком кричала старуха. – Остался!

– Друг мой! Николенька! – шептал молитвенно Феноген Иваныч.

– Да! Да! – говорил Николай, не понимая, кому и на что он отвечал. – Да! Да! – повторял он, целуя дрожащую старую руку, которая с безмолвной нежностью гладила его по голове и лицу.

– Да! Да! – все еще твердил он, уже чувствуя, как в душе его вырастает грозное и неумолимое, короткое и тупое «нет!».

Уже надвигалась ночь, и весь большой дом, начиная с людской и кончая барскими комнатами, сверкал веселыми огнями. Люди весело болтали и шумно перекликались, и маленькие,

дорогие, хрупкие и ненужные вещи уже не боялись за себя. Они гордо смотрели со своих возвышенных мест на суетившихся людей и безбоязненно выставляли свою красоту, и все, казалось, в этом доме служило им и преклонялось перед их дорого стоящим существованием.

Александр Антонович, Ниночка и даже студент сидели все еще в комнате у бабушки и то говорили о своем счастье, то молча прислушивались к нему. Феноген Иваныч, еще немного выпивший от радости, вышел на воздух с целью слегка прохладить свою голову, и в то время, когда он поглаживал руками красную лысину, на которой снежинки таяли, как на раскаленной плите, он с удивлением увидел Николая. Держа в руках небольшой сачок, Николай шел из-за угла, где находился черный ход, и был также неприятно удивлен, увидев Феногена Иваныча.

– А, Феногешка! – тихо сказал он. – Ну-ка, проводи меня до ворот.

– Друг... – растерянно бормотал Феноген Иваныч.

– Молчи. Там поговорим.

Улица в этот час была безлюдна, и оба конца ее терялись в белесоватой дымке медленно и бесшумно падающего снега. Остановившись перед Феногеном Иванычем и прямо в глаза смотря ему своими выпуклыми, блестящими глазами, Николай положил руку ему на плечо и сказал медленно, точно обучая ребенка:

– Скажи отцу, что Николай, мол, Александрович велели кланяться и сказать, что они – ушли.

– Куда?

– Просто – ушли. Прощай.

Николай похлопал лакея по плечу и тронулся от него. Но Феноген Иваныч и без слов знал, куда идет Николай, и со всей силой, какая была у него в руках, схватил его:

– Не пущу! Бог свят, не пущу!

Николай оттолкнул его и удивленно посмотрел. Но Феноген Иваныч сложил молитвенно руки и хнычущим голосом просил:

– Николенька! Друг единственный! Плюньте, не ходите. Ну что там? Деньги есть. Три завода. Дома. Акции каждодневно обрезают, – бессмысленно повторял он слова экономки.

– Что ты городишь? – нахмурился Николай и быстро зашагал.

Но Феноген Иваныч, весь праздничный в своем новом фраке и весь развинченный и словно помятый, бежал за ним, хватал его за руки и молил:

– Ну и я! И меня возьмите. Что же, ей-богу! Голубчик! В разбойники так в разбойники! – И Феноген Иваныч отчаянно махнул рукой, прощаясь с миром честных людей.

Николай остановился и молча взглянул на слугу, и в этом взгляде блеснуло что-то до того страшное, холодно-свирепое и отчаянное, что язык Феногена Иваныча онемел и ноги приросли к земле.

Высокая фигура Николая серела и уменьшалась, словно тая в серой мгле. Еще минута, и он навсегда скрылся в той темной зловещей дали, откуда неожиданно пришел. И уже ничего живого не виделось в безлюдном пространстве, а Феноген Иваныч все еще стоял и смотрел. Крахмаленный воротник рубашки обмяк и прилип к шее; снежинки медленно таяли на красной похолодевшей лысине и вместе со слезами катились по широкому бритому лицу.

Жили-были

14

I

Богатый и одинокий купец Лаврентий Петрович Кошеверов приехал в Москву лечиться, и, так как болезнь у него была интересная, его приняли в университетскую клинику. Свой чемодан с вещами и шубу он оставил внизу, в швейцарской, а вверху, где находилась палата, с него сняли черную суконную пару и белье и дали в обмен казенный серый халат, чистое белье, с черной меткой «Палата № 8», и туфли. Рубашка оказалась для Лаврентия Петровича мала, и нянька пошла искать новую.

– Уж очень вы велики! – сказала она, выходя из ванной, в которой производилось переодевание больных.

Полуобнаженный Лаврентий Петрович терпеливо и покорно ожидал и, наклонив большую лысую голову, сосредоточенно рассматривал свою высокую, отвислую, как у старой женщины, грудь и припухший живот, лежавший на коленях. Каждую субботу Лаврентий Петрович бывал в бане и видел там свое тело, но теперь, покрывшееся от холода мурашками, бледное, оно показалось ему новым и, при всей своей видимой силе, очень жалким и больным. И весь он казался не принадлежащим себе с той минуты, когда с него сняли его привычное платье, и готов был делать все, что прикажут. Вернулась с бельем нянька, и, хотя силы у Лаврентия Петровича оставалось еще настолько, что он мог пришибить няньку одним пальцем, он послушно позволил ей одеть себя и неловко просунул голову в рубашку, собранную в виде хомута. С тою же покорною неловкостью он ждал, закинув голову, пока нянька завязывала у ворота тесемки, и затем пошел вслед за нею в палату. И ступал он своими медвежьими вывернутыми ногами так нерешительно и осторожно, как делают это дети, которых неизвестно куда ведут старшие, – может быть, для наказания. Рубашка все же оказалась ему узка, тянула при ходьбе плечи и трещала, но он не решился заявить об этом няньке, хотя дома, в Саратове, один его суровый взгляд заставлял судорожно метаться десятки людей.

– Вот ваше место, – указала нянька на высокую чистую постель и стоявший возле нее небольшой столик. Это было очень маленькое место, только угол палаты, но именно поэтому оно понравилось измученному жизнью человеку. Торопливо, точно спасаясь от погони, Лаврентий Петрович снял халат, туфли и лег. И с этого момента все, что еще только утром гневало и мучило его, отошло от него, стало чужим и неважным. Память его быстро, в одной молниезарной картине, воспроизвела всю его жизнь за последние годы: неумолимую болезнь, день за днем пожиравшую силы; одиночество среди массы алчных родственников, в атмосфере лжи, ненависти и страха; бегство сюда, в Москву, – и так же внезапно потушила эту картину, оставив на душе одну тупую, замирающую боль. И без мыслей, с приятным ощущением чистого белья и покоя, Лаврентий Петрович погрузился в тяжелый и крепкий сон. Последними мелькнули в его полузакрытых глазах снежно-белые стены, луч солнца на одной стене, и потом наступили часы долгого и полного забвения.

На другой день над головою Лаврентия Петровича появилась надпись на черной дощечке: «Купец Лаврентий Кошеверов, 52 л., поступил 25 февраля». Такие же дощечки и надписи были у двух других больных, находившихся в восьмой палате; на одной стояло: «Дьякон Филипп Сперанский, 50 л.», на другой – «Студент Константин Торбецкий, 23 лет». Белые меловые

¹⁴ Впервые – в журнале «Жизнь», 1901, № 3, март. Отдельным изданием рассказ выпущен в «Дешевой библиотеке т-ва «Знание», № 59 (СПб., 1906).

буквы красиво, но мрачно выделялись на черном фоне, и, когда больной лежал навзничь, закрыв глаза, белая надпись продолжала что-то говорить о нем, приобретала сходство с надмогильными оповещениями, что вот тут, в этой сырой или мерзлой земле, зарыт человек. В тот же день Лаврентия Петровича свешали – оказалось в нем шесть пудов двадцать четыре фунта. Сказав эту цифру, фельдшер слегка улыбнулся и пошутил:

– Вы самый тяжелый человек на все клиники.

Фельдшер был молодой человек, говоривший и поступающий как доктор, так как только случайно он не получил высшего образования. Он ожидал, что в ответ на шутку больной улыбнется, как улыбались все, даже самые тяжелые больные на одобрительные шутки докторов, но Лаврентий Петрович не улыбнулся и не сказал ни слова. Глубоко запавшие глаза смотрели вниз, и массивные скулы, поросшие редкой седоватой бородой, были стиснуты, как железные. И ожидавшему ответа фельдшеру сделалось неловко и неприятно: он уже давно, между прочим, занимался физиогномикой и по обширной матовой лысине причислил купца к отделу добродушных; теперь приходилось переместить его в отдел злых. Все еще не доверяя своим наблюдениям, фельдшер – звали его Иваном Ивановичем – решил со временем попросить у купца какую-нибудь его собственноручную записку, чтобы по характеру почерка сделать более точное определение его душевных свойств.

Вскоре после взвешивания Лаврентия Петровича впервые осматривали доктора; одеты они были в белые балахоны и оттого казались особенно важными и серьезными. И затем каждодневно они осматривали его по разу, по два, иногда одни, а чаще в сопровождении студентов. По требованию докторов Лаврентий Петрович снимал рубашку и все так же покорно ложился на постель, возвышаясь на ней огромной мясистой грудой. Доктора стучали по его груди молоточком, прикладывали трубку и слушали, перекидываясь друг с другом замечаниями и обращая внимание студентов на те или иные особенности. Часто они начинали расспрашивать Лаврентия Петровича о том, как он жил раньше, и он неохотно, но покорно отвечал. Выходило из его отрывочных ответов, что он много ел, много пил, много любил женщин и много работал; и при каждом новом «много» Лаврентий Петрович все менее узнавал себя в том человеке, который рисовался по его словам. Странно было думать, что это действительно он, купец Кошеверов, поступал так нехорошо и вредно для себя. И все старые слова: водка, жизнь, здоровье – становились полны нового и глубокого содержания.

Выслушивали и выстукивали его студенты. Они часто являлись в отсутствие докторов, и одни коротко и прямо, другие с робкою нерешительностью просили его раздеться, и снова начиналось внимательное и полное интереса рассматривание его тела. С сознанием важности производимого ими дела они вели дневник его болезни, и Лаврентию Петровичу думалось, что весь он перенесен теперь на страницы записей. С каждым днем он все менее принадлежал себе, и в течение целого почти дня тело его было раскрыто для всех и всем подчинено. По приказанию нянек он тяжело носил это тело в ванную или сажал его за стол, где обедали и пили чай все могущие двигаться больные. Люди ощупывали его со всех сторон, занимались им так, как никто в прежней жизни, и при всем том в продолжение целого дня его не покидало смутное чувство глубокого одиночества. Похоже было на то, что Лаврентий Петрович куда-то очень далеко едет, и все вокруг него носило характер временности, неприспособленности для долгого житья. От белых стен, не имевших ни одного пятна, и высоких потолков веяло холодной отчужденностью; полы были всегда слишком блестящи и чисты, воздух слишком ровен – в самых даже чистых домах воздух всегда пахнет чем-то особенным, тем, что принадлежит только этому дому и этим людям. Здесь же он был безразличен и не имел запаха. Доктора и студенты были всегда внимательны и предупредительны: шутили, похлопывали по плечу, утешали, но, когда они отходили от Лаврентия Петровича, у него являлась мысль, что это были возле него служащие, кондуктора на этой неведомой дороге. Уже тысячи людей перевезли они

и каждый день перевозят, и их разговоры и расспросы были только вопросами о билете. И чем больше занимались они телом, тем глубже и страшнее становилось одиночество души.

– Когда у вас бывают приемные дни? – спросил Лаврентий Петрович няньку. Он говорил коротко, не глядя на того, к кому были обращены слова.

– По воскресеньям и четвергам. Но если попросить доктора, то можно и в другие дни, – словоохотливо ответила нянька.

– А можно сделать так, чтобы совсем ко мне не пускали?

Нянька удивилась, но ответила, что можно, и этот ответ, видимо, обрадовал угрюмого больного. И весь этот день он был немного веселее и хотя не стал разговорчивее, но уже не с таким хмурым видом слушал все, что весело, громко и обильно болтал ему больной дьякон.

Приехал дьякон из Тамбовской губернии и в клинику поступил на один день раньше Лаврентия Петровича, но был уже хорошо знаком с обитателями всех пяти палат, помещавшихся наверху. Он был невысок ростом и так худ, что при раздевании у него каждое ребро вылеплялось, а живот втягивался, и все его слабосильное тельце, белое и чистое, походило на тело десятилетнего несложившегося мальчика. Волоса у него были густые, длинные, иссера-седые и на концах желтели и закручивались. Как из большой, не по рисунку, рамки выглядывало из них маленькое, темное лицо с правильными, но миниатюрными чертами. По сходству его с темными и сухими лицами древних образов фельдшер Иван Иванович причислил дьякона к отделу людей суровых и нетерпимых, но после первого же разговора изменил свой взгляд и даже на некоторое время разочаровался в значении науки физиогномики. Отец дьякон, как все его называли, охотно и откровенно рассказывал о себе, о своей семье, о своих знакомых и так любознательно и наивно спрашивал о том же других, что никто не мог сердиться и все так же откровенно рассказали. Когда кто-нибудь чихал, о. дьякон издали кричал веселым голосом:

– Исполнение желаний! За милую душу! – И кланялся.

К нему никто не приходил, и он был тяжело болен, но он не чувствовал себя одиноким, так как познакомился не только со всеми больными, но и с их посетителями, и не скучал. Больным он ежедневно по нескольку раз желал выздороветь, здоровым желал, чтобы они в веселье и благополучии проводили время, и всем находил сказать что-нибудь доброе и приятное. Каждое утро он всех поздравлял: в четверг – с четвергом, в пятницу – с пятницей, и, что бы ни творилось в воздухе, которого он не видел, он постоянно утверждал, что погода сегодня приятная на редкость. При этом он постоянно и радостно смеялся продолжительным и неслышным смехом, прижимал руки ко впалому животу, хлопал по коленям руками, а иногда даже бил в ладоши. И всех благодарил – иногда трудно было решить, за что. Так, после чая он благодарил угрюмого Лаврентия Петровича за компанию.

– Так это мы с вами хорошо чайку попили – по-небесному! Верно, отец, а? – говорил он, хотя Лаврентий Петрович пил чай отдельно и никому компании составлять не мог.

Он очень гордился своим дьяконским саном, который получил только три года назад, а раньше был псаломщиком. И у всех – и у больных, и у приходящих – он спрашивал, какого роста их жены.

– А у меня жена очень высокая, – с гордостью говорил он после того или иного ответа. – И дети все в нее. Гренадеры, за милую душу!

Все в клиниках – чистота, дешевизна, любезность докторов, цветы в коридоре – вызывало его восторг и умиление. То смеясь, то крестясь на икону, он изливал свои чувства перед молчащим Лаврентием Петровичем и, когда слов не хватало, восклицал:

– За милую душу! Вот как перед Богом, за милую душу!

Третьим больным в восьмой палате был черный студент Торбецкий. Он почти не вставал с постели, и каждый день к нему приходила высокая девушка со скромно опущенными глазами и легкими, уверенными движениями. Стройная и изящная, в своем черном платье, она быстро

проходила коридор, садилась у изголовья больного студента и просиживала от двух ровно до четырех часов, когда, по правилам, кончался прием посетителей и няньки подавали больным чай. Иногда они много и оживленно говорили, улыбаясь и понижая голос, но случайно вырывались отдельные громкие слова, как раз те, которые нужно было сказать шепотом: «Радость моя!» – «Я люблю тебя»; иногда они подолгу молчали и только глядели друг на друга загадочным, затуманенным взглядом. Тогда о. дьякон кашлял и со строгим деловым видом выходил из палаты, а Лаврентий Петрович, притворявшийся спящим, видел сквозь прищуренные глаза, как они целовались. И в сердце у него загоралась боль, и биться оно начинало неровно и сильно, а массивные скулы выдавались буграми и двигались. И с той же холодной отчужденностью смотрели белые стены, и в их безупречной белизне была странная и грустная насмешка.

II

День в палате начинался рано, когда еще только мутно серело от первых лучей рассвета, и был длинный, светлый и пустой. В шесть часов больным подавали утренний чай, и они медленно пили его, а потом ставили градусники, измеряя температуру. Многие, как о. дьякон, впервые узнали о существовании у них температуры, и она представлялась чем-то загадочным, и измерение ее – делом очень важным. Небольшая стеклянная палочка со своими черными и красными черточками становилась показательницей жизни, и одна десятая градуса выше или ниже делали больного веселым или печальным. Даже вечно веселый о. дьякон впадал в минутное уныние и недоуменно качал головой, если температура его тела оказывалась ниже той, которую ему называли нормальной.

– Вот, отец, штука-то. Аз и ферг, – говорил он Лаврентию Петровичу, держа в руке градусник и с неодобрением рассматривая его.

– А ты поддержи еще, поторгуйся, – насмешливо отвечал Лаврентий Петрович.

И о. дьякон торговался и, если ему удавалось добыть еще одну десятую градуса, становился весел и горячо благодарил Лаврентия Петровича за науку. Измерение настраивало мысли на целый день на вопросы о здоровье, и все, что рекомендовалось докторами, выполнялось пунктуально и с некоторой торжественностью. Особенную торжественность в свои действия вносил о. дьякон и, держа градусник, глотая лекарство или выполняя какое-нибудь отправление, делал лицо важным и строгим, как при разговоре о посвящении его в сан. Ему дали, для надобностей анализа, несколько стаканчиков, и он в строжайшем порядке расставил их, а номера – первый, второй, третий... – попросил надписать студента, так как сам писал недостаточно красиво. На тех больных, которые не исполняли предписаний докторов, он сердился и постоянно со строгостью увещевал толстяка Минаева, лежавшего в десятой палате: Минаеву доктора не велели есть мяса, а он потихоньку таскал его у соседей по обеденному столу и, не жуя, глотал.

С семи часов палату заливал яркий дневной свет, проходивший в громадные окна, и становилось так светло, как в поле, и белые стены, постели, начищенные медные тазы и полы – все блестело и сверкало в этом свете. К самым окнам редко кто-нибудь подходил: улица и весь мир, бывший за стенами клиники, потеряли свой интерес. Там люди жили; там, полная народа, пробегала конка, проходил серый отряд солдат, проезжали блестящие пожарные, открывались и закрывались двери магазинов – здесь больные люди лежали в постелях, едва имея силы поворотить к свету ослабевшую голову; одетые в серые халаты, вяло бродили по гладким полам; здесь они болели и умирали. Студент получал газету, но ни он сам, ни другие почти не заглядывали в нее, и какая-нибудь неправильность в отпадении желудка у соседа волновала и трогала больше, чем война и те события, которые потом получают название мировых. Около одиннадцати часов приходили доктора и студенты, и опять начинался внимательный осмотр, длившийся часами. Лаврентий Петрович лежал всегда спокойно и смотрел в потолок, отвечая

односложно и хмуро; о. дьякон волновался и говорил так громко и так невразумительно, с таким желанием всем доставить удовольствие и всем оказать уважение, что его трудно было понять.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.